

# **У НОЧНОГО ОКНА**

**СТИХИ ЗАРУБЕЖНЫХ ПОЭТОВ**



Поэтическая деятельность Бенедикта Константиновича Лившица (1887—1939) началась в первом десятилетии нашего века. С 1909—1910 гг. он печатается в разных периодических изданиях. Его первый поэтический сборник, «Флейта Марсия», отмеченный влиянием позднего французского символизма, вышел в 1911 г. В конце того же года он сближается с Д. и Н. Бурлюками, а затем знакомится с Хлебниковым, Маяковским, Крученых, с которыми образует литературное содружество «Гилея». В этот период он участвует в различных футуристических сборниках. Однако конструктивные задачи, вне которых он не мыслит эволю-

ции русского стиха, уведят его все дальше от футуризма, и в 1914 г., когда появляется его второй сборник, «Волчье солнце», происходит окончательный разрыв. К этому времени он «научился по-новому ценить уплотненное смыслом слово»; темой его стихов 1914—1918 гг. становится Петербург, его архитектурный облик, история и миф. Стихи эти должны были составить сборник «Болотная медуза», который, однако, так и не появился отдельным изданием. Ряд стихотворений из него вошел в небольшую книжку «Из топи блат» (1922). Вместе с поэзией прежних лет и книгой «Патмос» (1926) стихи о Петербурге составили итоговый сборник «Кротонский полдень» (1928).

Поэт большого дарования, мастер насыщенного и пластичного стиха, Лившиц принадлежал к тем русским поэтам, кто по-разному воскрешал традиции высокого классического стиля. Он всегда стремился к предельному осмыслению своего искусства, и в книге воспоминаний «Полутораглазый стрелец» (1933) попытался определить историческую роль и значение эстетики русского футуризма. Особое место в его поэтическом развитии принадлежало новой французской поэзии, уяснению и освоению ее опыта. Переводы из нее, к которым Лившиц приступил еще на заре своего творчества, помогали ему в выработке нового поэтического языка. Именно эта насущность переводческой работы, помноженная на необычайно развитую поэтическую интуицию и чувство стиля, позволили Лившицу создать шедевры русской переводной поэзии. Выпущенная в 1934 г., антология «От романтиков до сюрреалистов» подвела итог двадцатипятилетней деятельности Лившица в этой области. Второе, расширенное издание антологии «Французские лирики XIX и XX веков» вышло в 1937 г. В том же году поэт стал жертвой незаконных репрессий.

В 1964 г. в Тбилиси вышел его сборник «Картвельские оды» со стихами о Грузии и переводами грузинских поэтов.



М А С Т Е Р А

П О Э Т И

ПОД РЕДАКЦИЕЙ  
П. АНТОКОЛЬСКОГО, Е. ВИНОКУРОВА,  
М. ЗЕНКЕВИЧА, Н. ЛЮБИМОВА и  
Б. СЛУЦКОГО

ВЫПУСК 11

ИЗДАТЕЛЬСТВО

< П Р О Г Р Е С С >

Ч Е С К О Г О

П Е Р Е В О Д А

# У НОЧНОГО ОКНА

СТИХИ  
ЗАРУБЕЖНЫХ ПОЭТОВ  
В ПЕРЕВОДЕ

БЕНЕДИКТА  
ЛИВШИЦА

М О С К В А

1 9 7 0

СОСТАВИТЕЛЬ И АВТОР ПРЕДИСЛОВИЯ  
ВАДИМ КОЗОВОЙ

РЕДАКТОР ВЫПУСКА  
БОРИС ШУПЛЕЦОВ

7-4-4  

---

16—70

## БЕНЕДИКТ ЛИВШИЦ И ЕГО ПЕРЕВОДЫ

В «Полутораглазом стрельце», книге воспоминаний, появившейся за несколько лет до смерти поэта, Бенедикт Лившиц называет себя «литературным неудачником». Об этом говорится между прочим, но во всяком случае всерьез. И как бы ни отнестись к этим словам, поэту, конечно, видней. Правда, теперь можно сказать с уверенностью, что его «Болотная медуза», — один из лучших в русской поэзии портретов Петербурга, этой «гениальной ошибки Петра». Вспомнить хотя бы «Дворцовую площадь»:

Копыта в воздухе, и свод  
Пунцовокаменной гортани,  
И роковой огневорот  
Закатом опоенных зданий:

Должны из царства багреца  
Извергнутые чужестранцы  
Бежать от пламени дворца,  
Как черные протуберанцы...

Как в ранних сборниках поэта, так и в последующих, особенно в «Патмосе», еще и теперь не прочтенном как следует, немало строк неподдельной лирической силы.

Все — только звук: пенорожденный брег,  
Жена, любовь, судьба родного края,  
И мы, устами истомленных рек,  
Плывущие, перебирая.

Тем не менее поэт высокой эмоциональной напряженности, ритор и эрудит, знающий секрет создания плотной и мощной фактуры, Лившиц медленно и трудно обретал собственную тему.

В его первом сборнике слишком очевидно влияние французских символистов. После периода экспериментов, выражением которого стало «Волчье солнце», Лившиц в полной мере находит себя в стихах о Петербурге, но позднее, в «Патмосе», быть может лучшей и самой сокровенной его книге, все же изредка проскальзывают интонации Мандельштама. (Впрочем, их можно отнести к литературным и культурно-историческим реминисценциям, которыми вообще богата поэзия Лившица.) В особенной отзывчивости к чужому поэтическому творчеству была для Лившица определенная опасность, но в этом, быть может, сказалась и специфика его дарования: та универсальная открытость души, та поистине чувственная способность впитывать в себя чужое слово, которые рождают и лучшие образцы поэзии, именуемой почему-то «книжной», и самые совершенные поэтические переводы. Как бы то ни было, от книги к книге Лившиц искал, завоевывал и углублял свою личную поэтическую тему. И как знать, во что вылились бы эти поиски? Ведь наряду с поэтами, чей гений вспыхивает подобно метеору (Китс или Рембо), есть и иные — те, кто находит себя не сразу, поэты нарастающей силы, чья творческая индивидуальность вызревает даже десятилетиями. Как правило, это поэты лирического склада, углубленных раздумий, «душевной умудренности». Б. Лившиц от напряженной классической патетики «Болотной медузы» возвращается в «Патмосе» — но уже с новой силой и новыми средствами — к теме лирической. То был, однако, его последний оригинальный сборник, не считая вышедшего в 1928 году «Кротонского полдня», в котором Лившиц собрал все им созданное\*. И как бы ни объяснялось его молчание, назвать себя «литературным неудачником» у поэта какие-то основания имелись: к моменту выхода «Полутораглазого

---

\* Опубликованные недавно в тбилисском сборнике «Картельские оды» стихи Лившица 30-х гг. о Грузии не дают достаточного представления об эволюции поэта.

стрельца» у него была литературная биография, но биография поэтическая, несмотря на значительность созданного им (и кстати, до сих пор не оцененного по достоинству), сложиться еще не успела.

И вот уже через год положение это резко меняется. В 1934 году выходит сборник переводов Бенедикта Лившица «От романтиков до сюрреалистов» (а в 1937 году — его расширенный вариант «Французские лирики XIX и XX веков»). По широте охвата, обилию переводческих шедевров и новизне материала с антологией Лившица мог сравниться только свод переводов Анненского. Этой книгой, и по праву, Лившиц вплотную подошел к поэтической славе. Именно к поэтической, ибо в сборнике этом читателю открылись новые и замечательные возможности русской поэзии. Не профессией был для Лившица перевод. Многолетний труд в этой области был для него частью его собственного поэтического творчества.

Еще в гимназии Лившиц упивался Овидием и «любовно переводил размерами подлинника» Горация \*. Здесь сказалось уже его глубокое пристрастие к «латинской стихии». Увлеченность французским символизмом совпала с началом поэтического творчества. Об этом периоде (1907—1908 гг.) Лившиц пишет: «...я был уже основательно знаком с Бодлером, Верленом, Малларме и всей плеядой «проклятых», из которых Рембо и Лафорг оказали на меня самое сильное влияние и надолго определили пути моей лирики» \*\*. В первом же своем сборнике Лившиц помещает переводы из Рембо, Корбьера, Роллина. Четкий ритм, упругая фактура и великолепная композиция этих стихов, разлитый в них иронический яд контрастируют с изнеженно-вялым эстетизмом оригинальных строк сборника. Но поэт переводил не

---

\* Автобиография, хранящаяся в Центральном государственном архиве литературы и искусства, ф. 341, оп. 22, ед. хр. 3.

\*\* Там же.

зря. Он потому и смог включить эти переводы в антологию 1934 года, что в работе над ними как бы опередил самого себя. «Лившиц, — писал в предисловии к антологии В. Саянов, — был, пожалуй, единственным поэтом раннего русского футуризма, органически связанным с французами». Уроки их новейшей поэзии (и не в меньшей степени живописи, прежде всего кубизма) перерабатывались им в построении собственного поэтического языка. Всегда стремившийся к предельному осмыслению своего искусства, Лившиц пытался определить взаимосвязь образа и значения, мелодики слова и смысловой наполненности стиха. Эти чисто конструктивные задачи уводили его от футуризма, с которым, впрочем, он не был глубоко связан, и в решении их для него был особенно важен опыт французских поэтов. И если глубокое осмысление поэтической структуры, характерное для Малларме, служило ему примером первостепенной важности, то переводы, прежде всего из Рембо, были для него практическим экспериментом. К Рембо Лившиц обращается очень рано, одним из первых в русской поэзии. В ту пору (1911 год) «из русских поэтов, — пишет он, — его переводили только Анненский, Брюсов да я». Но достаточно сравнить переводы Анненского и Лившица, чтобы убедиться, как различно их понимание французского оригинала. Гений Анненского прочел Рембо в чисто символистском ключе. У Лившица выразилось новое, в наше время окончательно утвердившееся представление об авторе «Озарений».

В «Искательницах вшей» — Анненский называет стихотворение «Феи расчесанных голов», смягчая прямой смысл заглавия, — оба русских поэта сумели передать тончайшую эстетизацию откровенно антиэстетической темы. Но у Анненского, как и в остальных его переводах из Рембо, отсутствует та скрытая ярость, которой дышит и это как будто «спокойное» стихотворение. Его перевод, полный кристальных намеков и недосказанностей, — прямая противоположность переводу Лившица.

Там, где буквальный смысл подлинника гласит: «К его постели подходят две очаровательные сестры, у которых хрупкие пальцы с серебристыми ногтями», Анненский переводит: «К ребенку нежная ведет сестру сестра, Их ногти — жемчуга с отливом серебра»; у Лившица же: «Ребенок видит вьявь склоненных наготове Двух ласковых сестер с руками нежных фей». Как будто у Анненского точнее, но Лившиц, вводя это зловещее «наготове», и с другой стороны, заостряя внимание на образе нежных женских рук, намечает внутренний контраст, который развивается дальше: «их тонкие, страшные (или грозные) и чарующие пальцы». У Анненского здесь: «Они в тяжелый лен, прохладую омытый, Впускают грозные и нежные персты»; у Лившица же гораздо более энергичное и сильное: «Они *бестрепетно* в его колтун упрямый Вонзают дивные и *страшные персть*». И снова Анненский, кажется, более точен, но у Лившица вместо «тяжелого льна» — «колтун упрямый», вместо «впускают» — «вонзают», вместо «грозные и нежные» — «дивные и страшные». Все это гораздо отчетливей и резче, не говоря уже о том, что эти строки, как и весь перевод, у Анненского построены на гармонически-музыкальном чередовании *л* и *н*, тогда как Лившиц создает его фактуру, сталкивая взрывчатые сочетания согласных. Весь свой текст он строит как развернутый контраст, и, конечно же, он не боится вызывающе грубой величественности оригинала: «Под ногтем царственным раздавленная вошь» (у Анненского здесь: «И жемчуга щитов уносят прах мятежных») — нарочитая затуманенность, несвойственная Рембо). Лившиц верно улавливает соединение абстрактного и конкретного в образной системе Рембо, и его «то гаснет, то горит желанье зарыдать» значительно ближе к подлиннику, нежели «жажда слез, рождаясь, умирает» в тексте Анненского. И кстати сказать, эта бросающаяся в глаза неправильность «то гаснет, то горит» чрезвычайно характерна для Лившица как переводчика. И в других его переводах встречаются подобные «неправильности», которые, одна-

ко, несут в себе нужный смысл и вместе с тем создают живую «шероховатость» стиха, без чего истинной поэзии не бывает.

Не следует, конечно, смешивать эту «шероховатость», отсутствие прилизанности с тем невольным косноязычием, с той двусмысленной приблизительностью, которые проистекают от неумения переводчика донести до нас поэтическое звучание оригинала. В последнем случае — хочет того переводчик или нет — непосредственность своезаконного слова поэта он подменяет описательностью, ложной подсказкой. Но читатель не поверит переводчику, ибо, выражаясь образно, в поддельные мехи влить вино поэтического послания невозможно. (Всякий перевод есть прочтение поэта поэтом, и, если для переводчика риск этот слишком велик, гораздо честнее филологически точное прозаическое переложение: оно тоже может побудить читателя взяться за оригинал.) Поэзия, в том числе и переводная, рождается на уровне языка. Именно это имеет в виду Поль Валери, когда характеризует стихотворение как «растянутое колебание между звуком и смыслом». Изобилие дурных переводов, особенно современной поэзии, обычно вызывается как раз несоответствием характера или уровня двух языковых культур: той, что уже выработана поэзией в стране переводчика, и той, что породила переводимого поэта. Конкретнее говоря, в наше время не только немецких экспрессионистов или французских сюрреалистов, но и поэтов XIX века невозможно переводить языком ни лучших, ни тем более третьестепенных стихотворцев пушкинской поры.

Для Лившица эта проблема была решена с самого начала именно потому, что переводческая его деятельность была неотделима от его вклада в эволюцию русского стиха. Его понимание поэтической речи уясняло и санкционировало практику стихотворного перевода. Столкнувшись с гением Хлебникова, его «ожившим» и устремленным в бесконечность языком, Лившиц понял, что этот путь для него «запретен». Как видно из «Полутораглазого стрелца», ему свойствен был «западный, точнее

романский, подход к материалу, принимаемому как некая *данность*. Все эксперименты над стихом (и над художественной прозой, конечно) мыслились в строго очерченных пределах конституированного языка (то есть языка установившегося, структура и словарь которого имеют законченную организацию. — В. К.)... Словесная масса, рассматриваемая изнутри, из центра системы, представлялась лейбницеvской монадой, замкнутым в своей завершенности планетным миром»\*. Языковая система каждого поэта оказывается при этом законченной и неповторимой, но именно эта законченность, внутренняя законосообразность, становится причиной сообщаемости поэтического слова и позволяет переводчику находить к нему определенный ключ. Здесь первенствующая роль отведена поэтической интуиции, которая у Лившица была необыкновенно острой и разносторонней. Постигая фактуру иноязычного поэта, он как бы воссоздает ее русский эквивалент и, обращаясь к новейшей французской поэзии, вводит в поэзию русскую и новые темы и новую поэтику. Да и поэты XIX века звучат у него по-новому. От Ламартина и Мюссе до Клоделя и Фарга, от Леконта де Лиля и Верлена до Реверди и Сюпервьеля — диапазон поистине огромный! Но, за редкими исключениями (быть может, не совсем удачен, слишком жестко звучит Бодлер), везде найдена и отлита в слове та особенная интонация, которая только и делает поэта неповторимым. Мастерское владение александрийским стихом, который в русских переводах так часто безжизнен и монотонен, бесконечное разнообразие в расположении смысловых и ритмических ударений вокруг цезуры позволяют Лившицу соперничать с французами в эпоху, когда у нас этот метр

---

\* При таком понимании слова язык не может стать, как у В. Хлебникова или некоторых современных поэтов (Сен-Жон Перс, Эзра Паунд), в каком-то смысле самой темой и содержанием поэзии; он остается ее первичным материалом.

стал крайне непопулярным. Особенно удачны здесь переводы из поэтов-неоклассиков — Анри де Ренье, Самена, Мораса — с их чеканной пластикой:

Прощай, мой город! В путь я отправляюсь темный,  
Из всех своих богатств одной лишь драхмой скромной  
Запасшись, чтоб внести за переправу мзду,

Довольный, что и там в сверкающем металле  
Я отгиск лебедя прекрасного найду,  
Недостающего реке людской печали.

Интуиция переводчика схватывает прежде всего и легче всего формально-композиционную сторону стиха. Поэтому те поэты послесимволистского периода, у которых роль формального приема резко обозначена, особенно для него соблазнительны. Тем более, что и здесь перевод становился для Лившица собственным поиском выразительных средств. «Первые стихи Аполлинера, — писал В. Саянов, — должно быть, интересовали его не меньше, чем современные Аполлинеру стихи русских поэтов». В частности, отмена Апполинером пунктуации была, конечно же, понята им в свете собственных опытов. «Мы этим способом подчеркиваем непрерывность словесной массы, ее стихийную космическую сущность», — утверждал в 1914 году Лившиц в беседе с Маринетти, говоря о себе и своих товарищах \*. Упрямство при этом логики обыденной речи, выпуклость обнаженного образа, напряженность интонации, подчеркиваемая столкновениями смыслов, без подсказки знаков препинания, — все это создает ту затрудненность и насыщенность чтения, которых достиг Лившиц в своем переводческом шедевре — «Отшельнике» Аполлинера:

---

\* Идею эту еще раньше обосновывал В. Хлебников.

Да все они пришли покаяться в грехах  
И Диамантою Луизой Зелотидой  
Я в ризу святости с простой простясь хламидой  
Отныне облачен Ты знаешь все монах

Воскликнули они Отшельник нелюдимый  
Возлюбленный прости нам тяжкие грехи  
Читай в сердцах покрой любимые грехи  
И поцелуев мед несказанно сладимый

После чего — две заключительные строфы, разряжающие в текучести последних строк доведенную до предела напряженность стихотворения:

И отпускаю я пурпурные как кровь  
Грехи волшебницы блудницы поэтессы  
И духа моего не искушают бесы  
Когда любовников объятья вижу вновь

Мне ничего уже не надо только взоры  
Усталых глаз закрыть забыть дрожащий сад  
Где красные кусты смородины хрипят  
И дышат лютостью святою пасифлоры

Эротическая тема этого стихотворения, его гротескно-романтический план, его словарь, где архаизмы и церковная лексика соседствуют с грубоватой откровенностью отдельных речений, были чрезвычайно родственны темпераменту русского поэта.

В других переводах из Аполлинера («Музыкант из Сен-Мерри», «Через Европу») Лившиц решает, быть может, еще более трудную задачу: усекая, сталкивая и надстраивая разные размеры, он воспроизводит полиритмическую ткань свободного стиха, и благодаря эмоциональной напряженности и синтаксическому единству эти откровенно алогичные строки сохраняют и

в переводе свою раскованность и цельность. Особенно ярко сказавшееся здесь тяготение поэта к предельной завершенности и отшлифованности приводит его порою к парадоксальным результатам: две великолепные строфы «Найди-ка в жилах черных руд...», извлеченные из большого стихотворения Рембо, выглядят как совершенно законченная вещь...

Наконец, переводческий опыт позволяет Лившицу приступить к работе над поэтом, особенно ему близким, — Виктором Гюго. Работа эта продолжалась много лет, прежде всего в 20-е годы, когда Лившиц, по-видимому, готовил сборник его стихотворений в своих переводах. Русский поэт сумел стать и здесь настоящим «соперником». Один из величайших версификаторов во французской поэзии, поэт огромного и разнообразнейшего словаря, Гюго несколько не приглаживается в переводах Лившица. Главным, однако, было сохранить единство его могучего дыхания. Гюго — вития и созерцатель — разворачивает громоздкие и мощные периоды, в которых и самые абстрактные речения обретают небывалую плотскую весомость. Это-то и оказалось под силу Лившицу с его собственным ораторским даром, с его пониманием напряженной фактуры и «непрерывности словесной массы». Под этим бурным напором, кажется, французская силабика срывается в русский стих и увлекает его:

— Луга, наполнитесь травой! Зрейте, нивы!  
Пусть свой убор земля колеблет

горделивый

И жатву воспет средь злата хлебных рек!  
Живите: камень, куст, и скот, и человек!  
В закатный час, когда в траве, уже

багряной,

Деревья черные, поднявшись над поляной,  
На дальний косогор, как призраки, ползут,  
И смуглый селянин, дневной окончив труд,

Идет в свой дом, где зрит над кровлей  
 струйку дыма,  
 Пусть жажда встретиться с подругою  
 любимой,  
 Пускай желание прижать к груди дитя,  
 Вчера лишь на руках шалившее шутя,  
 Растут в его душе, как удлиненые тени!  
 Предметы! Существа! Живите в легкой  
 смене,  
 Цветя улыбками, без страха, без числа!  
 . . . . .  
 Так говорили вы, и, как Вергилий, внемлю  
 Я вашим голосам торжественным, волы,  
 И нежит лебеда — вода, скалу — валы,  
 Березу — ветерок, и человека — небо...  
 О, естество! О, тень! О, пропасти Эреба!

Здесь, как и в других переводах — в «Mugitusque boum» и «Затмении», в «Искуплении» и «Я видел Глаз Тельца», — длина этих периодов точно соответствует оригиналу. Но, естественно, Лившиц не остается простым копиистом: «мрак» заменен «Эребом», «зелень гнезд» — «цвелью болот», строки меняются местами, отдельные образы выпадают вовсе. Однако переводы от этого еще не становятся вольными подражаниями. В переводческой практике Лившицу безотказно служило его чувство материала, и, сохраняя верность подлиннику, он нигде не склонялся ни к буквальному пересказу, ни к чрезмерно свободной интерпретации. Только такой подход к переводу ведет к расширению возможностей русского стиха, что и было целью Лившица. Конечно, печать его творческой индивидуальности остается на всех переводах, но ведь и регистр его способностей был необычайно широк. Достаточно вспомнить, что не менее Гюго, стремившегося заключить в своей поэзии весь мир — видимый и

невидимый, ему удался Валери, чистейшую мысль заключающий в чувственный образ, этот живописец «отсутствующего объекта», поэт, взвесивший на своих тончайших весах «то, чего нет». В этом смысле поразителен перевод стихотворения «Intérieur» — не только верный, но и предельно точный. Единственная серьезная неточность — отсутствие в этой развернутой стихотворной фразе подлежащего (в подлиннике это «рабыня длинноглазая»), но и здесь чутье не подвело Лившица: эта добавочная неопределенность не выбивается из прозрачной темноты стихотворения, через которое проходит как раз — чередой символических отраженностей — некий смутный и полупризрачный Образ.

И здесь, и во фрагментах «Юной парки» текучий и кристально чистый стих Валери, его изумительная синтаксическая и смысловая гибкость переданы с таким проникновением, что невольно задаешь себе вопрос: не преломилась ли тут в чем-то — после орфической темы «Патмоса», столь близкой Валери, — новая перспектива творчества Лившица? \* Вопрос этот останется без ответа; нам достаточно знать, что русскому поэту при всем его понимании стихийной и темной природы слова были, как и Валери, свойственны тяготение к строго очерченным пределам, обостренное чувство формы, неприятие необузданного вдохновения. Черты эти и определили несомненно оригинальный и далеко еще не исчерпанный вклад Лившица в развитие русской поэзии, и совсем другое дело, что он воспринимал их порою как бремя:

---

\* Поражает почти буквальное совпадение формулировок, в которых Бенедикт Лившиц и Поль Валери выражают кардинальное различие поэтического языка и обиходной речи. Следует подчеркнуть, что подразумеваемая здесь статья Лившица (см. Приложение) опубликована в 1919 г., между тем как эссе Валери, в которых развивалась эта мысль, только начали появляться в то время

Раскрыт дымящийся кратер  
И слух томится — наготове —  
И ловит песенный размер  
Переливающейся крови —

И рифма, перегружена  
Всей полнотою мироздания,  
Как рубенсовская жена,  
Лежит в истоме ожиданья...

К чему ж — предродовая дрожь  
И длительная летаргия?  
О, почему уста тугие  
Ты все еще не раскуешь?

Иль, выше наших пониманий,  
Ты отдаешь любовь свою  
Тому, что кроется в тумане  
Да в смертном схвачено бою?

Вообще же, если вернуться к переводам и присмотреться внимательнее к составу антологии, убеждаешься, что Лившиц обращался прежде всего к поэтам, в том или ином ему родственным. И хотя книга эта охватывает все течения французской поэзии за столетие с лишним, картина, в ней представленная, далеко не полна. Нет здесь ни Нерваля, ни Лотреамона; Тайад занимает значительно больше места, чем Малларме, а Клодель представлен не самыми характерными своими вещами. Но зато русскому читателю были открыты Валери и Аполлинер, Жакоб и Элюар...

Полный охват и не мог входить в замысел переводчика. Задача его, естественно, была иной, и он выполнил ее с таким

блеском, одарил русскую переводную поэзию таким количеством и таким разнообразием шедевров, что видится нами теперь в одном ряду с выдающимися мастерами переводческого искусства — от Жуковского до Пастернака.

\* \* \*

В основу настоящего сборника положена антология Б. Лившица «Французские лирики XIX и XX веков», Л., 1937. Кроме того, в него включены журнальные публикации, а также непечатавшиеся переводы, тексты которых обнаружены в ЦГАЛИ (стихотворения В. Гюго «Виргилий, бог...», «Нисходит жизнь моя» и пятая главка «Искупления»). В приложении приводятся фрагменты статьи Б. Лившица, позволяющей лучше представить его понимание поэтического искусства, — понимание, выразившееся и в его переводческой практике.

*В. Козовой*

## СТИХОТВОРЕНИЯ



## Альфонс Ламартин

(1790—1869)

### Одиночество

Когда на склоне дня, в тени усевшись дуба  
И грусти полн, гляжу с высокого холма  
На дол, у ног моих простершийся, мне любо  
Следить, как все внизу преображает мгла.

Здесь плещется река волною возмущенной  
И мчится вдаль, стремясь неведомо куда;  
Там стынет озеро, в чьей глади вечно сонной  
Мерцает только что взошедшая звезда.

Пока за гребень гор, где мрачный бор теснится,  
Еще цепляется зари последний луч,  
Владычицы теней восходит колесница,  
Уже осеребрив края далеких туч.

Меж тем, с готической срываясь колокольни,  
Вечерний благовест по воздуху плывет,  
И медным голосам, с звучаньем жизни дольней  
Сливающимся в хор, внимает пешеход.

Но хладною душой и чуждой вдохновенью  
На это зрелище взирая без конца,  
Я по земле влачусь блуждающею тенью:  
Ах, жизнетворный диск не греет мертвеца!

С холма на холм вотще перевожу я взоры,  
На полдень с севера, с заката на восход.  
В своей окоем включив безмерные просторы,  
Я мыслю: «Счастье нигде меня не ждет».

Какое дело мне до этих долов, хижин,  
Дворцов, лесов, озер, до этих скал и рек?  
Одно лишь существо ушло — и, неподвижен  
В бездушной красоте, мир опустел навек!

В конце ли своего пути или в начале  
Стоит светило дня, его круговорот  
Теперь без радости слежу я и печали:  
Что нужды в солнце мне? Что время мне несет?

Что, кроме пустоты, предстало б мне в эфире,  
Когда б я мог лететь вослед его лучу?  
Мне ничего уже не надо в этом мире,  
Я ничего уже от жизни не хочу.

Но, может быть, ступив за грани нашей сферы,  
Оставив истлевать в земле мой бранный прах,  
Иное солнце — то, о ком я здесь без меры  
Мечтаю, — я в иных узрел бы небесах!

Там чистых родников меня пьянила б влага,  
Там вновь обрел бы я любви нетленной свет  
И то высокое, единственное благо,  
Которому средь нас именованья нет!

Зачем же не могу, подхвачен колесницей  
Авроры, мой кумир, вновь встретиться с тобой?  
Зачем в изгнании мне суждено томиться?  
Что общего еще между землей и мной?

Когда увядший лист слетает на поляну,  
Его подымет ветр и гонит под уклон;  
Я тоже желтый лист, и я давно уж вяну:  
Неси ж меня отсель, о бурный аквилон!

Виктор Гюго

(1802—1885)

**Надпись на экземпляре  
«Божественной комедии»**

Однажды вечером, переходя дорогу,  
Я встретил путника: он в консульскую тогу,  
Казалось, был одет; в лучах последних дня  
Он замер призраком и, бросив на меня  
Блестящий взор, чья глубь, я чувствовал, бездонна,  
Сказал мне: — Знаешь ли, я был во время оно  
Высокой, горизонт заполнившей горой;  
Затем, преодолев сей пленной жизни строй,  
По лестнице существ пройдя еще ступень, я  
Священным дубом стал; в час жертвоприношенья  
Я шумы странные струил в ночную синь;  
Потом родился львом, мечтал среди пустынь,  
И ночи сумрачной я слал свой рев из прерий,  
Теперь — я человек; я — Данте Алигьери.

**Mugitusque boum \***

Мычание волов в Вергилиевы годы,  
На склоне дня среди безоблачной природы,

---

\* И мычание волов... (*лат.*) — Вергилий «Георгики»,  
кн. 2, ст. 470.

Иль в час, когда рассвет, с полей прогнавши мрак,  
Волнами льет росу, ты говорило так:

— Луга, наполнитесь травой! Зрейте, нивы!  
Пусть свой убор земля колеблет горделивый  
И жатву воспоет средь злата хлебных рек!  
Живите: камень, куст, и скот, и человек!  
В закатный час, когда в траве, уже багряной,  
Деревья черные, поднявшись над поляной,  
На дальний косогор, как призраки, ползут,  
И смуглый селянин, дневной окончив труд,  
Идет в свой дом, где зрит над кровлей струйку

дыма,

Пусть жажда встретиться с подругою любимой,  
Пускай желание прижать к груди дитя,  
Вчера лишь на руках шалившее, шутя,  
Растут в его душе, как удлиненные тени!  
Предметы! Существа! Живите в легкой смене,  
Цветя улыбками, без страха, без числа!  
Покойся, человек! Будь мирен, сон вола!  
Живите! Множьтесь! Бросайте всюду семя!  
Пускай, куда ни глянь, почувствуется всеми,  
При входе ли в дома, под цвелью ли болот,  
В ночном ли трепете, объявшем небосвод —  
Порыв безудержный любовь: в траве ль зеленой,  
В пруде ль, в пещере ли, в просеке ль оголенной,  
Любить всегда, везде, любить, что хватит сил,  
Под безмятежностью темно-золотых светил.  
Заставьте трепетать уста, крыла и воздух,  
Сердцебиения любви, забывшей роздых!  
Лобзанье вечное пускай лежит на всем,  
И миром, счастьем, надеждой и добром,  
Плоды небесные, падите вниз, на землю!

Так говорили вы, и, как Вергилий, внемлю  
Я вашим голосам торжественным, волны,  
И нежит лебедя — вода, скалу — валы,  
Березу — ветерок, и человека — небо...  
О, естество! О, тень! О, пропасти Эреба!

## У ночного окна

### I

Златые иглы звезд сверкают меж ветвями,  
Лоснистая волна тяжелыми струями  
Бьет в океанский брег;  
Порою облака проносятся, как птицы,  
И ветер шепчет слов бессвязных вереницы,  
Как спящий человек.

В природе все течет, как из раскрытой урны:  
Огонь переходит в дым, и в пену — вихорь бурный,  
Все — мимолетный миг.  
Что можно взять, держать и сохранить навеки?  
Летит за часом час, и с каждым часом некий  
Мы видим в мире сдвиг.

Где неподвижность звезд в сей движущейся тайне?  
Что — небо зримое, действительно ль бескрайне  
И вечно ли оно?  
Над нами россыпь солнц всегда ль одна и та же?  
Потомок узрит ли все тех же самых стражей,  
Что видеть нам дано?

## II

О, ночи, будете ль всегда вы тем, что ныне?  
Навеки ли разбит шатер небесной сини

Над головой у нас?

Скажи, Альдебаран, ответь, кольцо Сатурна,  
Не узрим ли когда в личине безлазурной —  
Сквозь прорезь — новых глаз?

Не загорятся ли там новые светила,  
И дуги новые, и новые стропила,

Что вечный зодчий ввел

В собор, чьим папертям никто конца не знает,  
Где семисвещником Медведицы пылает  
Чудовищный престол?

Сей ветер, что дал вам жизнь средь голубого лона,  
Венера, Сириус, Созвездье Ориона,

Ужель навек затих?

И никогда, его дыханием согреты,  
Уж не поднимутся в апреле вечном светы  
Цветов совсем других?

Познали ли мы мир с его безмерным чудом,  
Мы, тростники болот, мы, черви, чья под спудом

Слюда едва блестит?

Кто вымолвит средь нас кощунственное слово,  
Что на челе ночей господь тиары новой  
Уже не поместит?

### III

Ужели бог вконец свое растратил пламя?  
Не извергает ли миры он за мирами?  
    Ответь, Зенит! Надир!  
Не полнит ли господь собой свое творенье?  
Ужель угасших уст излил он все горенье  
    В наш охладевший мир?

Когда огромные являются кометы,  
С собою принося глубин бездонных свету,  
    Дано ли видеть нам,  
Куда бегут они, — вселенные иль души,  
Скиталицы пучин, горящие втируши  
    По нашим небесам?

Кто, у истока став, познал первопричину?  
Кто, магом и царем сойдя в сию пучину,  
    Всех тайн хранит ключи?  
О, призраки людей, нечастием согбленных!  
Кто произнес: «Творец, нам хватит солнц-вселенных.  
    Довольно. Опочий!»

Кто мятежом поперт закон тысячелетий?  
Кто в силах запретить чему-нибудь на свете  
    Движение его?  
Расширившись, всегда любой предел осилишь,  
Вся тварь живет, растет и множится, а мы лишь  
    Свидетели всего.

Мы — лишь свидетели, мы — в трепете глубоком.  
Как все живущее, живым исполнен соком  
    Высокий небосвод,  
И древо дивное, живя в сплетеньях темных,  
Возносит в небеса — своих ветвей огромных  
    Неисчислимый плод.

Творенье впереди, за ним стоит создатель,  
А человек — увы, лишь жалкий наблюдатель  
Обличия вещей.  
Достаточно поднять чело над тем, что — рядом,  
Чтоб за завесою скрестить свой взгляд со взглядом  
Всевидащих очей.

#### IV

Не скажем же себе: «У нас свои светила!»  
Быть может, флоты солнц, уже раскрыв ветрила,  
Плывут на нас сейчас.

Быть может, одолев предвечную истому,  
Творец перекроит по чертежу иному  
Все то, что видит глаз.

Как знать? Кто даст ответ? Над темным небосклоном,  
Над сим, созданьями творца загроможденным  
Священным лесом сил,  
Что волны бытия питают в иступленьи,  
Быть может, узрим мы внезапное явленье  
Испуганных светил.

Растерянных светил, пришедших из пучины,  
Восставших из глубин иль бросивших вершины,  
И в наш земной туман,  
Под своды черные, воспламенившись в беге,  
Упавших стаей птиц, которых сбил на бреге  
Свирепый ураган.

Они появятся, зардевшись издалече,  
Смерч грозных светочей, рубиновые печи,  
Сжигая все окрест,

Уничтожая нас, перегорая сами,  
Затем, что наряду с блаженными мирами  
    Есть злые духи звезд.  
Быть может, в этот миг — на дне ночей беззвездных  
Уже вздувается рожденный в мрачных безднах  
    Блестящих Светов рой,  
И бесконечности неведомое море  
На наши небеса стремится и сбросит вскоре  
    Смертельных звезд прибой.

### Затмение

Порой сомнение земной объемлет шар.  
В глазах у всех темно; туман иль странный пар.  
Не знаешь: сумерки ли это иль похмелье?  
Куда ни глянь — ни в ком ни гнева, ни веселья.  
Исчезновение уже смущает нас.  
Впивается во тьму совиный желтый глаз.  
Все виды молнии на небесах змеятся.  
Алтарь склоняется, и черви в нем роются.  
Во мраке Ирменсул — почти Игова.  
Мудрец роняет вслух бессвязные слова.  
Все спутано: добро со злом, и правда с ложью;  
У лестницы Числа чуть видимо подножье,  
И вверх по ней никто, отважный, не скользит.  
Там — в Гефсимании Додонин глас звучит;  
Там — где гремит Синай — дымится рядом Этна;  
Толпятся, ссорятся, дивятся безответно.  
Указывает путь один слепой другим.  
Неправы небеса пред разумом людским.  
Мыслитель верует, мудрец уже не верит,  
А совесть слушает, и пробует, и мерит,

И, сбита с пути, ощупывает мрак:  
Где Веда чистая? Где вымыслы писак?  
Всех добродетелей исчезли очертанья.  
Разгул чудовищных теней — на дне сознания,  
И в глубине небес, где скрылось божество:  
Ни клятв, ни честности, ни веры — ничего.  
Вершина чуть видна, а маяка следа нет,  
И отсвет факела тиару всю багрянит.  
Блуждают, ждут, глядят в смятении кругом.  
Любовь во всех сердцах, волнуясь, бьет крылом,  
Не ведая, верна ль природа ей людская.  
Зги не видать. Кричат, друг друга окликают:  
«Кто там? Ответь!» Сосед не узнает порою  
Соседа. Вся толпа — сплошной пчелиный рой.  
Друг к другу тянутся, глядят в глаза, но все же  
Разобщены, и зло и ночь средь царства дрожи  
Воздвигли свой престол. Несчастливая толпа  
В глубокой пропасти беспомощно слепа.  
Как будто ледоход на дне пучин грохочет.  
Все близко и темно; мрак надо всем хохочет.  
Дождит; небесный свод сокрыли облака.  
Ребенок малый стал похож на старика.  
И кажется, что нет отныне жизни вечной.

Зловещая душа зрит в муке бесконечной  
Затмение господ, внушающее страх.

Рожденье ли? Иль смерть? Когда? В каких мирах?  
Народы сумрачны и трепетом объяты,  
Слились в единый гул и горны, и набаты;  
Холодный ветер с земли сорвал последний грим,  
И демон говорит с улыбкой: «Я — незрим».

## Я видел Глаз Тельца

Я видел Глаз Тельца. И я сказал ему:  
— О ты, пронесший к нам, сквозь адскую ли тьму,  
Сквозь светы ль райские, огонь неизмеримый,  
Ты знаешь свой закон, как я — твой облик зримый.  
От тайны к тайне нам немислим переход.  
Все — сфинкс. Как знать, когда, робея, небосвод  
Кометы яростной принять обязан пламя,  
Что в нем сотрет она своими волосами?  
В сем мире бытия, где все имеет смысл,  
Ответь, ты кто — маяк иль ночи черной мыс?  
Быть может, ты маяк, зажженный на бугшприте,  
И жизнь вокруг тебя — водоворот событий?  
Светило! В час, когда все было рождено,  
Подобное другим, вошло ты, как звено,  
В цепь страшных судорог и шквалов бурой пены  
Слепого хаоса, что стать желал вселенной.  
Как все живущее: полип иль алкион,  
Ты в ритме творческом свой обрело закон;  
Ты горн их ужасов — лежишь — печать большая  
И пламенной строфой искришься, завершая  
Огромный звездный гимн, что небом мы зовем:  
Природа — вечный Пан — должна в свой оком,  
Остолбенева, принять тебя, как сновиденье!  
Альдебаран! Брегов неведомых свеченье,  
Ты не вполне горишь на дне пучин ночном,  
Как те, что солнцами нарек нам астроном.  
Склонив блестящий лик над пропастью незримой,  
Ты не вполне похож собой на херувима.  
О, призрак! О, мираж! Ты все же не вполне  
Лишь зрительный обман в зловещей вышине.  
Но что в тебе признать должны мы дивом дивным:

Ты — света колесо, вращеньем непрерывным —  
Расцветши навсегда — наш услаждешь глаз;  
То жемчуг, то сапфир, то оникс, то алмаз.  
Обвитый молнией и ею светел, чудом  
Ты вдруг становишься из лала изумрудом.  
Тобой был некогда смятен ливийский маг,  
При виде радуги твоей. Но знай, что так  
Блестишь ты не один, преград себе не зная:  
Душа людей, как ты, — планета четверная.  
В нас — чудеса твои. Светило, вот они!  
Поэзия с тобой сравнилась искони:  
Орфей, Гомер, Эсхил и Ювенал — четыре  
Ее глашатая. Когда в затихшем мире,  
На утренней заре иль в сумеречный час,  
Поют кузнечики и птичий слышен глас,  
Где Арно, где Авон, где Инд — повсюду музы  
Мы зрим присутствие. Тягчайшие обузы  
Снимая с наших плеч, она ни на один  
Не покидает миг своих святых вершин.  
За Каллиопою, Полимнией, Эрато  
И Немезидою — гармонии крылатой,  
И дик и радостен, предвечный лик сквозит;  
Она идиллию громами разрешит.  
Светило! В ней — любовь, и смех, и гнев, и бездны  
Скорбей, как и в тебе, великий вихорь звездный.  
Глагол и луч, она кротка к своим рабам,  
Советы подает народам и царям,  
Поет благим сердцам, льет свет добра — злонравным,  
Речет — и тайное соделывает явным.  
В ней человечество находит тот размах,  
Что, сбросив цезарей, взнесенных на щитах,  
Развенчивает их, идею лишь лелея.  
В ней — Франция и Рим, Эллада и Халдея.

Полюбит драмою, сатирою сразит,  
Псалмом иль песнею печально зазвучит,  
А в эпопее зрят властители дурные  
Последствия слепой и глупой тирании,  
Неотвратимый всход всех сеятелей зла:  
Карету в золоте, что их во храм везла  
На увенчание, и тут же, рядом — спицы  
Едва приметные позорной колесницы.  
Она свершает здесь, где плачется Адам,  
Что в бесконечности ты совершаешь сам.  
Но если, следуя высокому завету,  
Приводишь к цели ты безумную комету  
И выправляешь звезд блуждающих пути,  
Мы силой разума умеем обрести,  
Где — бог, где — ад, где — цель и счастья и страданий,  
Вертящийся маяк на звездном океане!

### **Альбрехту Дюреру**

В густых лесах, где ток животворящей мглы  
Питает крепостью древесные стволы,  
Неправда ль, сколько раз, добравшись до просеки,  
Испуган, побледнев, поднять не смея веки,  
Ты ускорял, дрожа, свой судорожный шаг,  
О Дюрер, пестун мой, о живописец-маг!  
По всем твоим холстам, которым мир дивится,  
Нельзя не угадать, что взором духовидца  
Ты ясно различал укрывшихся в тени  
И фавнов лапчатых, и лешего огни,  
И Пана, меж цветов засевшего в засаду,  
И с пригоршней листьев бегущую дриаду.  
Ты в лесе видел мир, нечистый испокон:

Двусмысленную жизнь, где все — то явь, то сон.  
Там — сосны льнут к земле, здесь — на огромном  
вязае

Все ветви скрючились в замысловатой вязи  
И в чаще, движимой, как водоросль на дне,  
Ничто не умерло и не живет вполне.  
Кресс тянется к воде, а ясени на кручах  
Под страшным хворостом, в терновниках ползучих  
Сгибают черных стоп узластые персты;  
Лебязьешее глядят в ручей цветы,  
И, пробужденное шагами пешехода,  
Встает чудовище и, пальцами урода  
Сжимая дерева широкие узлы,  
Сверкает чешуей и мечет взор из мглы.  
О прозябание! О дух! О персть! О сила!  
Не все ль равно — кора иль кожа вас покрыла?  
Учитель, сколько раз я ни бродил в лесах,  
Мне в сердце проникал тебе знакомый страх,  
Чуть дунет ветер, и я увижу, как повисли  
На всех ветвях деревьев их сбивчивые мысли.  
Творец, единственный свидетель тайных дел,  
Творец, который все живущее согрел  
Сокрытым пламенем, он знает: неслучайно  
Я всюду чувствую биенье жизни тайной  
И слышу в сумраке и смех и голоса  
Чудовищных дубов, разросшихся в леса.

\* \* \*

Когда все вишни мы доели,  
Она насупилась в углу.  
— Я предпочла бы карамели.  
Как надоел мне твой Сен-Клу!

Еще бы — жажда! Пару ягод  
Как тут не съесть? Но погляди:  
Я, верно, не отмою за год  
Ни рта, ни пальцев! Уходи!

Под колотушки и угрозы  
Я слушал эту дребедень.  
Июнь! Июнь! Лучи и розы!  
Поет лазурь, и молкнет тень.

Прелестную смиряя буку,  
Сквозь град попреков и острот,  
Я ей обтер цветами руку  
И поцелуем — алый рот.

## **Искушение**

(Фрагменты)

### I

Снежило. Сражены победою своею,  
Французские орлы впервые гнули шею.  
Он отступал — о, сон ужасный наяву! —  
Оставив позади пылавшую Москву.  
Снежило. Вся зима обрушилась лавиной.  
Равнина белая — за белою равниной.  
Давно ли армия, теперь — толпа бродяг,  
Уже не знавшая, где вождь ее, где стяг,  
Где силы главные, где правый фланг, где левый...  
Снежило. Раненым служило кровлей чрево

Издохших лошадей. У входа в пустоту  
Биваков брошенных виднелись на посту  
Горнисты мертвые, застыв виденьем белым,  
И ртом примерзшие к рожкам обледенелым.  
Гранат, картечи, бомб сквозь вьюгу лился сплав,  
И гренадерский полк, впервые испытав,  
Что значит дрожь, шагал, дыша в усы седые.  
Снежило без конца. Свистали ветры злые.  
По гололедице ступая босиком,  
Без хлеба люди шли в краю для них чужом.  
То не были войска, то не были солдаты,  
То призрак был толпы, какой-то сон заклятый,  
В тумане шествие безжизненных теней,  
И одиночество, час от часу страшней,  
Являлось всюду им, как фурия немая...  
Безмолвный небосвод, сугробы насыпая,  
Огромной армии огромный саван шил —  
И близкой смерти час людей разъединил.  
Где ж, наконец, предел настанет царству стужи?  
И царь и север — два врага, но север хуже.  
Орудья побросав, лафеты стали жечь.  
Кто лег, тот умирал. Утратив мысль и речь,  
От зева снежного бежали без оглядки,  
И было б ясно всем, кто сосчитал бы складки  
Сугробов, что полки в них опочили сном.  
О, Ганнибала смерть! Аттилы злой разгром!  
Бегущих, раненых, носилок, фур кровавый  
Затор происходил у каждой переправы.  
Ложился спать весь полк, вставал всего лишь взвод.  
Ней, потеряв войска, едва нашел исход  
Из плена русского, отдав часы казаку.  
Тревога что ни ночь: к ружью! на штурм! в атаку!  
И призраки брались за ружья и на них,

При криках коршунов, как стая птиц степных,  
Летела конница монголов полудиких,  
Обрушивался вихрь чудовищ темноликих.  
Так гибли армии бесследно по ночам,  
И император сам все это видел — сам,  
Подобно дереву, что обрekli секире.  
К титану, с кем никто не смел сравняться в мире,  
Беда, как дровосек, уж подошла в упор,  
И он, цветущий дуб, почувствовал топор  
И, содрогаясь, весь во власти провиденья,  
Он замечал вокруг себя ветвей паденье.  
Вожди, солдаты — все навек смежали взор.  
Меж тем как близкие, обстав его шатер,  
Следили на холсте за движущейся тенью,  
Верны его звезде, ропща на провиденье  
За оскорбление величества, — на дне  
Своей души он сам был поражен вдвойне.  
Раздавлен бедствием и видя сон кровавый,  
Он к богу обратил лицо. Любимец славы  
Дрожал. Наполеон постиг, что он несет  
Расплату за вину какую-то, и вот  
Пред воинством, снега устлавшим так обильно:  
«Не кара ль это все, — спросил он, — бог всеильный?»  
Тогда, по имени назвав его, в ответ  
Из темноты ему был некий голос: «Нет!»

## II

Да, Ватерло не то! Да, Ватерло безмолвно!  
Да, Ватерло молчит о том, как в чаше полной —  
В кольце его холмов, прогалин и лесов,  
Кипя, смешала смерть сошедшихся бойцов;  
Как, меж Европою и Францией устроив

Кровопродитный бой, бог обманул героев.  
Победа, ты ушла, а рок успел устать.  
О, Ватерло! в слезах я должен замолчать,  
Затем, что той войны последние солдаты  
Велики были все; под звонких труб раскаты,  
Осилив Альпы, Рейн, царей низвергнув в прах,  
Они прошли весь мир и всем внушили страх!  
Смеркалось. Бой ночной пылал, подобно бреду.  
Наполеон почти держал в руках победу.  
Уже в ближайший лес был загнан Веллингтон.  
В подзорную трубу глядел Наполеон  
На центр сражения, на точку, где трепещет  
Людское месиво, ужасно и зловеще,  
На мрачный горизонт, лишенный синевы.  
Вдруг вскрикнул он: «Груши!» — То Блюхер был, увы!  
Надежда перешла к противнику. Сраженье,  
Преобразив свой лик, росло в ожесточеньи.  
Английских батарей огонь косил полки.  
Равнина, где знамен взвивались лишь клочки,  
Меж воплей раненых, вызывавших бесполезно,  
Была сплошным огнем, сплошной багровой бездной,  
Провалом, где полков за строем таял строй,  
Где падал, в очередь, как колос под косой,  
Гигант тамбур-мажор с чудовищным султаном,  
Где взор испуганно скользил по страшным ранам.  
Резня ужасная! Миг битвы роковой!  
Он понял, что сейчас решиться должен бой.  
За склоном гвардия была еще укрыта.  
Последняя мечта! Последняя защита!  
— Ну, в дело гвардию пустите! — крикнул он.  
И стройные полки, под сению знамен,  
Артиллерийские, уланов, гренадеров,  
Драгунов — тех, что Рим счел за легионеров, —

В блестящих киверах, в мохнатых шапках шли —  
Герои Фридланда, герои Риволи,  
И, зная, что живым не выйти им из боя,  
Средь бури свой кумир приветствовали стоя.  
Под клик: «Да здравствует наш император!» — все  
Бесстрашно, с музыкой, шли к смертной полосе.  
Улыбкой встретивши град английской картечи,  
Вступала гвардия в разгар кровавой сечи.  
Увы! за гвардией следил Наполеон,  
И в миг, когда она, крутой покинув склон,  
Приблизилась к врагу, исчезнув в туче дыма,  
Он понял, что теперь уже неудержимо  
Растают все полки в пылающей печи,  
Как тает легкий воск на пламени свечи.  
Все принимали смерть, как п р а з д н и к , — в ратном строе:  
Никто не отступил. Мир вечный вам, герои!  
Остатки армии — разбитая орда —  
На агонию их взирали. Лишь тогда,  
Свой безнадежный глас подъяв над общим криком,  
Смятенье — великан с полубезумным ликом,  
Рождающий боязнь в испытанных сердцах,  
Знамена гордые швыряющий во прах,  
Сей призрак призрака, сей дым на небоскате,  
Порой во весь свой рост встающий в сердце ратей, —  
Смятенье подошло к солдату в этот миг,  
И, руки заломив, влило в уста свой крик:  
«Спасайся поскорей кто может!» С той минуты  
Сей крик стал лозунгом; растерянны и люты,  
Как будто некий смерч сейчас прошел по ним,  
Средь ящиков, возков, глотая пыль и дым,  
Свергаясь в пропасти, скрываясь в рожь и травы,  
Бросая кивера, оружие, знаки славы  
Под сабли прусские, они, гроза владык,

Дрожали, плакали, бежали. В краткий миг,  
Как на ветру горит летящая солома,  
Исчезла армия — земной прообраз грома,  
И поле, где теперь мечтаем мы в овсе,  
Узрело бегство тех, пред кем бежали все.  
Прошло уж сорок лет, а этот мрачный угол,  
Равнина Ватерло, еще полна испуга,  
Лишь вспомнит, как пришлось ей увидеть в былом  
Гигантов гибнувших и бегство и разгром!

Наполеон смотрел, как ток уносит рьяный  
Людей и лошадей, знамена, барабаны,  
И вновь со дна души в нем поднялась тоска.  
Опять он к небесам воззвал: «Мои войска  
Погибли. Я разбит. Империи следа нет.  
Твой гнев, господь, ужель еще не перестанет  
Преследовать меня?» Тогда, сквозь гул и бред  
И грохот выстрелов раздался голос: «Нет!»

### III

Он пал, и приняла иной уклад Европа.  
Есть среди морских пучин наследие потопа,  
Кусок материка, угрюмых рифов ряд.  
Судьба взяла гвоздей, ошейник, тяжкий млат,  
Схватила бедного, живого громотатца  
И, продолжая им с усмешкой забавляться,  
Помчалась пригвождать его к морской скале,  
Чтоб коршун Англии терзал его во мгле.

Исчезновение величия былого!  
От утренней зари до сумрака ночного —

Лишь одиночество, заброшенность, тюрьма,  
У двери — красный страж, вдали — леса, кайма  
Необозримых вод, да небосвод бесцветный,  
Да парус корабля с его надеждой тщетной.  
Все время ветра шум, все время волн напор!  
Прощай, разубранный пурпуровый шатер!  
И белый конь, прощай, для Цезаря рожденный! —  
Уж барабанного нет боя, нет короны,  
Нет королей, что чтут его, как божество,  
Нет императора, нет больше ничего!  
Опять он — Бонапарт. Уж нет Наполеона.  
Как оный римлянин, парфянином сраженный,  
К пылающей Москве стремился он мечтой,  
И слышал над собой солдатский окрик: «Стой!»  
Сын — пленник, а жена — изменница: обоих  
Лишился он. Гнусней разлегшейся в помоях  
Свины, его сенат глумиться стал над ним.  
В часы безветрия, над берегом морским —  
Над черной бездною — по насыпи огромной  
Шагал, мечтая, он в плену пучины темной.  
Печальный кинув взор на волны, небосклон,  
Воспоминаньями былого ослеплен,  
Он мыслью уходил ко дням своей свободы.  
Триумф! Небытие! Спокойствие природы!  
Орлы летели вдаль, над ним уж не паря.  
Цари — тюремщики во образе царя —  
Его замкнули в круг, навек нерасторжимый.  
Он умирал, и смерть, принявши облик зримый,  
Восстав пред ним в ночи, росла, к себе маня,  
Как утро хладное таинственного дня.  
Его душа рвалась отсель в предсмертной дрожи.  
Однажды, положив оружие на ложе,  
Промолвил он: «Теперь коней!» — и рядом с ним

Улеся под плащом Маренго боевым.  
Его сражения при Тибре и при Ниле,  
Дунайские — пред ним чредою проходили.  
«Я победил, — он рек, — орлы летят ко мне!»  
Вдруг, взором гаснувшим скользнувши по стене,  
Он взор мучителя заметил ядовитый:  
Сэр Гудсон Ло стоял за дверью приоткрытой.  
Тогда, пигмеями поверженный колосс,  
Воскликнул он: «Ужель не все я перенес?  
Господь, когда ж конец? Жестокой кары бремя  
Сними с меня!» Но глас изрек: «Еще не время!»

## V

Приходит смерть, проходит злоба.  
Таких не знали мы светил.  
Спокойно он внимал из гроба  
Тому, как мир о нем судил.

Мир говорил: «Была готова  
Победа до любой черты  
Идти за ним. Вождя такого,  
История, не знала ты!

Почит в славе, под травою,  
Свершитель дерзостных чудес,  
Уже при жизни взявший с бою  
Ступени первые небес!

Он высылал, в пылу жестоком  
Беря Мадрид, беря Москву,  
Свои мечты бороться с роком  
И воплощал их наяву.

Влюбленный в бранную тревогу,  
Сей венценосный рефаим  
Навязывал свой замысл богу,  
Но бог не соглашался с ним.

Он шел вперед необоримо  
И, облечен в свою зарю.  
Окинув оком стены Рима,  
Он мыслил: «Я тепер царю!»

Да, он хотел своею волей,  
Священник, царь, маяк, вулкан,  
Создать из Лувра Капитолий  
И из Сен-Клу свой Ватикан.

Сей Цезарь так бы рек Помпею:  
— Будь мне помощник, и гордись!  
И целый мир следил за нею,  
За шпагою, пронзавшей высь.

Он шел, куда его надменно  
Мечты безумные влекли,  
И ждал, что перед ним колена  
Склонят народы всей земли.

Мечтал свести зенит с надиром,  
Все на земле преобразить,  
Распространить Париж над миром,  
Весь мир в Париже заключить.

Подобно Киру в Вавилоне,  
Желал он под своей рукой  
Все власти слить в едином троне,  
В один народ — весь род людской.

И, идя к цели неуклонно,  
Достичь такого торжества,  
Чтоб имени Наполеона  
Завидовал Иегова».

## Народу

Тебе подобен он: ужасен и спокоен,  
С тобою он один соперничать достоин.  
Он — весь движение, он мощен и широк.  
Его смиряет луч и будит ветерок.  
Порой — гармония, он — хриплый крик порою.  
В нем спят чудовища под синей глубиною,  
В нем набухает смерч, в нем бездн безвестный ад,  
Откуда смельчаки уж не придут назад.  
Колоссы прядают в его простор свирепый:  
Как ты — таран, корабль он превращает в щепы.  
Как разум над тобой, маяк над ним горит.  
Кто знает, почему он нежит, он громит?  
Волна, где, чудится, гремят о латы латы,  
Бросает в недра тьмы ужасные раскаты.  
Сей вал тебе сродни, людской водоворот:  
Сегодня заревев, он завтра всех пожрет.  
Как меч, его волна остра. Прекрасной дщери,  
Он вечный гимн поет, рожденной им Венере.  
В свой непомерный круг он властно заключил,  
Подобно зеркалу, весь хоровод светил.  
В нем — сила грубая и прелесть в нем живая.  
Он с корнем рвет скалу, былинку сберегая.  
К вершинам снежных гор он мечет пену вод,  
Но только он, как ты, не замедляет ход,  
И, на пустынный брег ступивши молчаливо,  
Мы взор вперяем вдаль и верим в час прилива.

## Сопоставление

— Признайтесь, мертвецы! Кто ваши палачи?  
Кто в груди вам вонзил безжалостно мечи?  
Ответь сначала ты, встающая из тени.  
Кто ты? — Религия. — Кто твой палач? — Священник.  
— А ваши имена? — Рассудок. Честность. Стыд.  
— Кто ж вас на смерть сразил? — Всех церковь. — Ну, а ты?  
— Я совесть общества. — Скажи, кем ты убита?  
— Присягою. — А ты, что кровью вся залита?  
— Я справедливость. — Кто ж был палачом твоим?  
— Судья. — А ты, гигант, простертый недвижим  
В грязи, пятнающей твой ореол геройский?  
— Зовусь я Аустерлиц. — Кто твой убийца? — Войско.

## Форты

Они — парижских врат сторожевые псы,  
Затем, что мы — внутри осадной полосы,  
Затем, что там — орда, чьи подлые отряды  
Уж добираются до городской ограды,  
Все двадцать девять псов, усевшись на холмы,  
Тревожно и грозя глядят в дебри тьмы  
И, подавая знак друг другу в час укромный,  
Поводят бронзой шей вокруг стены огромной.  
Они не знают сна, когда все спит кругом,  
И, легкими хрипя, выкашливают гром;  
Внезапным пламенем звездообразных вспышек  
Порою молния летит в долины с вышек,  
Густые сумерки во всем таят обман:  
В молчаньи — западню, в покое — ратный стан.

Но тщетно вьется враг и ставит сеть ловушек:  
Не подпуская к нам его ужасных пушек,  
Они глядят вокруг, ощупывая мрак.  
Париж — тюрьма, Париж — могила и бивак,  
От мира целого стоит отъединенный  
И держит караул, но, наконец, бессонный,  
Сдается сну — и тишь объемлет все и всех.  
Мужчины, женщины и дети, плач и смех,  
Шаги, повозки, шум на улицах, на Сене,  
Под тысячами крыш шептанья сновидений,  
Слова надежды: «Верь!» — и голода: «Умри!» —  
Все смолкло. Тишина. До утренней зари  
Весь город погружен в ужасные миражи...  
Забвенье, сон... — Они одни стоят на страже.

Вдруг вскакивают все внезапно. Впопыхах  
Склоняют слух к земле... — там, далеко, впотьмах  
Не клочкотание ль глубокое вулканов?  
Весь город слушает, и, ото сна воспрянув,  
Поля пробуждены; и вот на первый рев  
Ответствует второй, глух, страшен и суров,  
Как бы взрываются и рушатся утесы,  
И эхо множит гром и грохот стоголосый.  
Они, они! В густом тумане под горой  
Они заметили лафетов вражьих строй.  
Орудия, они открыли очерк резкий,  
И там, где вспугнута сова на перелеске,  
Они увидели заполнившее скат  
Скопление черное шагающих солдат:  
Глаза предателей в кустарниках пылают.

Как хороши форты, что в сумрак ночи лают!

## Наполеон III

Свершилось! От стыда должна бы зареветь,  
Приветствуя тебя салютом, пушек медь!  
Привыкнув ко всему подкрадываться сзади,  
Ты уцепился, карл, теперь за имя дяди!  
Самовлюбленный шут, устроив балаган,  
Ты в шляпу Эсслинга втыкаешь свой султан,  
Наполеонов сон тревожа в тьме могильной,  
Ты пробуешь сапог напаялить семимильный  
И, жалкий попугай, расправивши крыла,  
На свой насест зовешь Аркольского орла!  
Терсит уж родственник Ахилла Пеллиада!  
Так вот к чему вела вся эта Илиада!  
Так это для тебя вставал на брата брат  
И русские войска гнал пред собой Мюрат?  
Так это для тебя сквозь дым и огонь орудий  
Навстречу смерти шли, не дрогнув, эти люди  
И, кровью напоив ненасытимый прах,  
Слагали голову в эпических боях?  
Так это для тебя — уже теряя силы,  
Весь материк дрожал от поступи Аттилы,  
И Лондон трепетал, и сожжена Москва? —  
Все, все для твоего, о карлик, торжества:  
Чтоб мог ты, внемля лести Фьялена, Маскарильи,  
Развратничать в кругу придворной камарильи,  
Чтоб в луврских оргиях делил с тобой угар  
Разгульных пиршеств Дейц иль господин Мокар?  
Так это для тебя — по киверам, папахам  
Пронесся грозный смерч? Погиб под Рейхенбахом  
Дюрок? Сражен ядром при Ваграме Лассаль?  
Так это для тебя — безмерная печаль  
Вставала призраком со снежных перепутий?

Картечью Коленкур настигнут был в редуте,  
И гвардия легла костями под Ватерло?  
В тот самый час, когда, огромное крыло  
Влача по насыпям могильным и курганам,  
Нам обнажает ветр на каждом поле бранном  
Несчетных черепов зияющий оскал, —  
По славным поприщам ты бродишь, как шакал,  
И именем чужим орудуешь, пройдоха!  
И вот уж щелкает в руке у скомороха  
Бич, всех властителей земных повергший ниц,  
И солнцевых коней — Маренго, Аустерлиц,  
Мондови, Риволи, — позоря их возницу,  
В свою впрягаешь ты, ничтожный, колесницу!

### **Вергилий, бог...**

Вергилий, бог, едва не ставший серафимом,  
Подчас венчает стих лучом неизъяснимым —  
Ведь он еще в те дни в наш кругозор проник  
И пел, когда Христа был слышен детский крик.  
Ведь он из тех, кого касалось языками  
С востока дальнего прорвавшееся пламя.  
Ведь он из тех, кого на горней высоте  
Златил, забрезжив, день, рассветший во Христе!  
Так вифлеемская заря, еще незрима,  
По воле божией чело светлила Рима.

## Нисходит жизнь моя...

### I

Нисходит жизнь моя уж в сумрак гробовой,  
И мне доступней смысл вещей потусторонний:  
Прекрасней праведник, поверженный судьбой;  
Обожествленье солнц — когда они на склоне.

Брут, падая на меч, Катона не дивит;  
Мор, помня Фрозия, не думает спастись;  
Сократ, кого поит цикутою Анит,  
Мешает ли Христу блаженно улыбаться?

Тупой и суетный, мимо идет народ.  
Лишь собственное нам ужасно осужденье,  
И совесть чистая, лаская нас, дает  
Сияние душе и плоти очищенье.

Над горькой бездною я умиротворен.  
Люблю сей дикий шум — безбрежности начало;  
Ловлю и говор волн, и ночью ветра стон,  
И отдаюсь всему, что скорбью в них звучало.

### II

Нам нужен хоть один, кто б молвил: я готов —  
Родная Франция, я жертвую собою!  
Чтоб совести в сердцах еще не умер зов,  
Народ! чтоб ты пребыл горящею душою!

Чтоб нынче, как вчера, — всегда чисты, как твердь  
В погоду ясную, и сильны волей твердой,  
Средь нас нашлись они, приемлющие смерть,  
Изгнание и ночь таинственно и гордо.

Я сам — из тех, кого на землю валит рок,  
Бичуя опытом и долгом наказуя,  
Но счастья скорбного сомнительный цветок  
И радость мрачную, не сетуя, беру я.

Другие, лучшие, чем я, уж умерли:  
Присноблаженствуют во славе не вечерней.  
Они взнеслись с Голгоф. На чела их легли  
Сиянья, что идут от всех венцов и терний.

В них — все великое: страданья и любовь.  
Их лики светятся — как бы дары сквозь воздух;  
На крестном их пути страдальческая кровь  
Застыла звездами и говорит о звездах.

### III

Сократ — провидец. Я — свидетель жизни сей —  
Иду, оставив все в руках жестоких рока,  
И слышу дальний смех моих былых друзей,  
Пока я прохожу, задумавшись глубоко.

Друг другу говорят они, мне мнится, так:  
— Что там на берегу вдали маячит тенью?  
Смотрите-ка туда. Оно стоит никак.  
Ужели человек иль только привиденье?

Друзья, то — человек и призрак вместе с тем!  
Он взором погружен в спокойные глубины  
И, в жажде умереть, стал у могилы, нем,  
Пленный тучей, где дрожат дерев вершины.

О, ведайте, иной моей поры друзья,  
Когда б я говорил, о вас бы вел я речи.  
Задумчивостью скорбь свою питаю я,  
К заре последней льнет таинственный мой вечер.

Вы — те, что молвили: он прав! — а по домам  
Готовы вновь поднять меня на посмеянье,  
Я мало претерпел, я меньше значу сам,  
И не меня мое касается страданье.

Но кто бы вы и что б вы ни были теперь,  
Как может сердце в вас ничем не разрываться?  
Ужель средь близких нет совсем у вас потерь?  
Как знать, где мертвые? Как в силах вы смеяться?

#### IV

Я вижу: счастлив тот, кто все переживет! —  
И, призрак, ухожу ютиться меж развалин.  
На бреге рыбаки следят за ростом вод.  
Увеличения теней я жду, печален.

Я созерцаю; мне пустыня лишь нужна.  
Из сердца удалив желаний бранных семя,  
Стараюсь вовремя очнуться ото сна,  
Что называется обычно жизнью всеми.

Смерть уведет меня в блаженный свой уют:  
Уж кони черные браздят пространство где-то.  
Как я похож на тех, что, поспешивши, ждут,  
Когда же на пути нагонит их карета!

Мне жалость не нужна: я осужден на смерть,  
Но дух мой облечен в рассвет и скорбь, как  
в столу,  
Сквозь дыры на руках Христовых видит твердь:  
Ведь только мученик — источник света долу.

## V

Я грежу, истина, тобой лишь ослеплен.  
Число моих врагов? Им нету исчисленья.  
Воспоминания рассеялись, как сон.  
Во мне встает, как тень, обширное забвенье.

Я даже имени не знаю тех, кто грыз  
Меня, мечтателя, позорной клеветою.  
Я вижу на верху горы сиянье риз,  
Твое крыло, душа, слегка уж голубое!

О, если я кому, желая лично мстить,  
Нанес хотя удар вне поля общей брани,  
О, если я сказал сурово: ненавижу!  
Хотя бы одному из любящих созданий,

О, если кто-нибудь мной в сердце ранен был —  
Как громовой удар, приемлю кару божью!

Пускай простят меня, кого я оскорбил,  
Лишь мукой движимый, а не неправой ложью.

За все мои грехи я отстрадал вполне.  
Иду, и жизнь вокруг — пустырь с травой хилой,  
Где удлиняются и тянутся ко мне  
Огромные лучи отверзшейся могилы.

## Альфред де Вини

(1797—1863)

### Рог

(Отрывок)

Люблю я звучный рог в глубокой мгле лесов,  
Пусть лани загнанной он знаменует зов  
Или охотника прощальные приветы,  
Вечерним ветерком подхваченные где-то.

Не раз ему в ночи, дыханье затая,  
Внимал я радостно, но чаще плакал я,  
Когда мне чудилось, что издали нахлынув,  
Плывут предсмертные стенанья паладинов.

О, горы синие! О, скалы в серебре!  
Фразонские пласты! Долина Марборе!  
Стремящиеся вниз, сквозь снежные преграды,  
Источники, ручьи, потоки, водопады!

Подножья в зелени, вершины изо льда,  
Двухъярусный убор, застывший навсегда,  
О, как средь вас звучат торжественно и строго  
Раскаты дальние охотничьего рога!

## Альфред де Мюссе

(1810—1857)

### Мадрид

Мадрид, Испании столица,  
Немало глаз в тебе лучится,  
И черных глаз и голубых,  
И вечером по эспланадам  
Спешит навстречу серенадам  
Немало ножек молодых.

Мадрид, когда в кровавой пене  
Быки мнуттся по арене,  
Немало ручек плещет им,  
И в ночи звездные немало  
Сеньор, укрытых в покрывало,  
Скользит по лестницам крутым.

Мадрид, Мадрид, смешна мне, право,  
Твоих красавиц гордых слава,  
И сердце я отдам свое  
Средь них одной лишь без заминки:  
Ах, все брюнетки, все блондинки  
Не стоят пальчика еel

Ее суровая дуэнья  
Лишь мне в запретные владенья

Дверь открывает на пароль;  
К ней даже в церкви доступ труден:  
Никто не подойдет к ней, будь он  
Архиепископ иль король.

Кто талией сумел бы узкой  
С моей сравниться андалузкой,  
С моей прелестною вдовой?  
Ведь это ангел! Это демон!  
А цвет ее ланиты? Чем он  
Не персика загар златой!

О, вы бы только посмотрели,  
Какая гибкость в этом теле  
(Я ей дивлюсь порою сам),  
Когда она ужом завьется,  
То рвется прочь, то снова жметя  
Устами жадными к устам!

Признаться ли, какой ценою  
Одержана победа мною?  
Тем, что я славно гарцевал  
И похвалил ее мантилью,  
Поднес конфеты ей с ванилью  
Да проводил на карнавал.

## Цветку

Очаровательно-приветлив,  
Зачем ты прислан мне, цветок?  
И полумертвый, ты кокетлив.  
Что означает твой намек?

Ты в запечатанном конверте  
Сейчас проделал долгий путь.  
Шепнула ль, предавая смерти,  
Тебе рука хоть что-нибудь?

Ты только ли трава сухая  
И через миг совсем умрешь?  
Иль, чью-то мысль в себе скрывая,  
Опять роскошно расцветешь?

Одетый в белую одежду,  
Увы, ты непорочно чист!  
Однако робкую надежду  
Мне подает зеленый лист.

Быть может, чье-то ты посланье?  
Я скромн: тайну мне открой.  
Зеленый цвет — иносказанье?  
Твой аромат — язык немой?

Что ж, если так — о нежной тайне  
Скорей мне на ухо шепни.  
А если нет — не отвечай мне  
И на моей груди усни.

С игривой ручкой незнакомки  
Я слишком хорошо знаком.  
Она шутя твой стебель ломкий  
Скрепила тонким узелком.

Ища ей равную, напрасно  
Пракситель портил бы резец,  
Венериной руки прекрасной  
Не взяв себе за образец.

Она бела, она прелестна,  
Она правдива, говорят.  
Кто ею завладеет честно,  
Она тому откроет клад.

Она направо и налево  
Дары не любит рассыпать.  
Цветок, ее боюсь я гнева:  
Молчи и дай мне помечтать.

Пьер-Жан Беранже

(1780—1857)

**Челобитная породистых собак  
о разрешении им доступа в Тюильрийский сад  
(июнь 1813 года)**

Тиран низвержен, и для нас }  
Настал утех веселый час. } bis

Мы ждем назавтра же известья —  
Пускай объявят нам псари:  
«Псы Сен-Жерменского предместья  
Имеют доступ в Тюильри».

Тиран низвержен, и для нас  
Настал утех веселый час.

От стаи шавок беспризорной  
Ошейник нам в отличие дан.  
Средь луврских почестей, бесспорно,  
Смутился б уличный грубьян.

Тиран низвержен, и для нас  
Настал утех веселый час.

Хотя бесстыдно попирала  
Нас узурпатора пята,  
Мы, не обидевшись нимало,  
Ни разу не раскрыли рта.

Тиран низвержен, и для нас  
Настал утех веселый час.

Пред памятью его простерты  
Лишь несколько негодных псов:  
Тот, кто лизал ему ботфорты,  
Теперь загрызть его готов.

Тиран низвержен, и для нас  
Настал утех веселый час.

Ах, сколько такс да мосек немцам  
И русским нынче нагло льстит!  
Как лебезят пред иноземцем,  
Хоть кровью галльской он залит!

Тиран низвержен, и для нас  
Настал утех веселый час.

Что нужды, если англичане  
Победой обогащены?  
Кусочку сахара заране  
Порадоваться мы должны.

Тиран низвержен, и для нас  
Настал утех веселый час.

Чепцы и кофты входят в моду,  
И, завершая торжество,

Попы святят, как прежде, воду:  
Верните ж нам наш status quo!

Тиран низвержен, и для нас  
Настал утех веселый час.

А мы за это обещаем  
На задних лапах вам служить,  
Богатых не тревожить лаем  
И нищих за полы ловить.

Тиран низвержен, и для нас  
Настал утех веселый час. } bis

### **Эпитафия моей музы**

(Сент-Пелажи)

Сюда, прохожие! Взгляните,  
Вот эпитафия моя:  
Любовь и Францию в зените  
Ее успехов пела я.  
С народной не мирясь обузой,  
Царей и челядь их дразня,  
Для Беранже была я музой —  
Молитесь, люди, за меня!  
Прошу, молитесь за меня!

Из ветреницы своевольной  
Я стала другом бедняка:  
Он из груди у музы школьной  
Ни капли не взял молока  
И жил бродяги бесприютней...



## Ключи рая

Ключи от райских врат вчера  
Пропали чудом у Петра  
(Все объяснить — не так уж просто).  
Марго, проворна и смела,  
В его кармане их взяла.  
«Марго, как быть?  
Не олухом же слыть:  
Отдай ключи!» — взывает к ней апостол.

Марго работой занята:  
Распахивает в рай врата  
(Все объяснить — не так уж просто).  
Ханжи и грешники гурьбой  
Стремятся в рай наперебой.  
«Марго, как быть?  
Не олухом же слыть:  
Отдай ключи!» — взывает к ней  
апостол.

Магометанин и еврей  
Спешат протиснуться скорей...  
(Все объяснить — не так уж просто).  
И папа, годы ждавший, вмиг  
Со сбродом прочим в рай проник.  
«Марго, как быть?  
Не олухом же слыть:  
Отдай ключи!» — взывает к ней апостол.

Иезуиты, кто как мог,  
Пролезли тоже под шумок...  
(Все объяснить — не так уж просто).

И вот уж с ангелами в ряд  
Они шеренгою стоят.  
    «Марго, как быть?  
    Не олухом же слыть:  
Отдай ключи!» — взывает к ней апостол.

Дурак врывается, крича,  
Что бог суровой палача  
(Все объяснить — не так уж просто).  
Проходит дьявол наконец,  
Приняв из рук Марго венец.  
    «Марго, как быть?  
    Не олухом же слыть:  
Отдай ключи!» — взывает к ней апостол.

Господь отныне, рад — не рад,  
Декретом отменяет ад  
(Все объяснить — не так уж просто).  
Во славу вящую его  
Не буду жарить никого.  
    «Марго, как быть?  
    Не олухом же слыть:  
Отдай ключи!» — взывает к ней апостол.

В раю веселье и разгул:  
Сам Петр туда бы прошмыгнул  
(Все объяснить — не так уж просто).  
Но за труды его теперь  
Пред ним захлопывают дверь.  
    «Марго, как быть?  
    Не олухом же слыть:  
Отдай ключи!» — взывает к ней апостол.

## Опост Барбье

(1805—1882)

### Девяносто третий год

#### I

Во дни, когда корабль столетний государства,  
Не в силах одолеть слепых зыбей коварство,  
Без мачт и парусов, во всю свою длину  
В сплошных пробоинах, средь грозного простора,  
Готовился пойти под шквалами террора  
С новорожденною свободою ко дну,

Вся свора королей, с волн не спуская взгляда,  
О том лишь думала, чтоб страшная громада,  
Столкнувшись с берегом, не свергла тронов их,  
И, шумно радуясь возможности добычи,  
Накинулась, в одном объединившись кличе,  
На остов, гибнущий среди пучин морских.

Но весь истерзанный неистовством стихии,  
Свой корпус выпрямив и не склоняя выи,  
Геройским пламенем ощерил он борта,  
И на расширенном уже явил плацдарме  
Европе мощь своих четырнадцати армий,  
Заставив хищников вернуться на места.

## II

О год чудовищный, о девяносто третий  
Величественный год! Сокройся в глубь столетий,  
Кровавой славою увенчанная тень:  
Мы, карлики, отцов бессмертных недостойны,  
И ты потехою почел бы наши войны,  
Когда бы посмотрел на настоящий день.

Ах, твоего у нас священного нет жара,  
Ни мужества в сердцах, ни силы для удара,  
Ни дружбы пламенной к поверженным врагам,  
А если мы порой и чувствуем желанье  
Позлоствовать, у нас лишь на три дня дыханья  
С грехом хватает пополам.

## Опост-Марсель Бартелеми

(1796—1867)

### **Господину де Ламартину, кандидату в депутаты от Тулона и Дюнкерка**

Я думал: что же, пусть, чувствителен не в меру,  
Поэт преследует высокую химеру,  
От стогов городских уходит в мир могил  
И там, где акведук образовал аркаду,  
В тумане звонкому внимает водопаду  
Под сенью ястребиных крыл.

Увы, всю жизнь — одни озера, бездны, выси!  
Раз навсегда застыть на книжном фронтисписе,  
Закутав тощий стан коричневым плащом,  
И взором, лунною исполненным печалью,  
Следить за волнами, что льнут к ногам, за далью,  
За реющим во мгле орлом!

Какое зрелище! Поэт-самоубийца  
Пьет жизни горький ад с бесстрашьем олимпийца,  
Улыбкой смерть зовет к себе во цвете лет  
И, в добровольное давно уйдя изгнание,  
Подобно Иову, лишь издает стенанья:  
«Зачем явился я на свет?»

Как я жалел его! Тая в душе тревогу,  
К его убежищу я все искал дорогу,

Желая разделить обол последний с ним,  
Сказать ему: «Пойдем, на Ионийском склоне  
Ты жажду утолишь божественных гармоний,  
Ты будешь жить, как серафим».

Но вскоре все мое сочувствие иссякло:  
Я увидел тебя в обличи Геракла;  
Ты мчался в тильбюри, забыв про небеса.  
В толпе услышал я: «Он едет дипломатом  
В Тоскану, но и там, на поприще проклятом,  
Он явит миру чудеса».

Я понял: нет границ твоим духовным силам!  
Ты арифметику сопряг с Езекиилом  
И из Сиона в банк летишь, взметая прах.  
Держатель векселей, заимодавец хмурый,  
Умеет пожинать плоды литературы,  
Оставив ястребов в горах.

На чернь презренную, мне ясно, лишь для вида  
Обрушиваются твои псалмы Давида,  
Что на веленовой бумаге тиснул ты:  
Поэт и финансист, ты деньгам знаешь цену  
И вексель предъявить просроченный Гослену  
Нисходишь с горней высоты.

Чуть в академии освободилось кресло,  
Иеремия наш, препоясавши чресла,  
Спешит туда, свернув с пророческой стези,  
Рукой архангела сгребает не впервые  
Чины и ордена, сокровища земные,  
Полуистлевшие в грязи.

Я слышал, будто бы, покинув край безбурный,  
Ты счастья попытать решил теперь у урны.  
Чело твое уже венчает сельдерей;  
Ветхозаветную отбросив прочь кифару,  
Ты процветание сулишь надолго Вару  
Кандидатурою своей.

Приветствую, о брат, твою любовь к отчизне,  
Но как поверю я, что ты далек от жизни?  
Молчали мы, когда всеобщий наш кумир,  
Библейским языком пять лет подряд глаголя,  
Обменивал стихи на милости Витроля,  
На шитый золотом мундир.

Когда же ханжеских в награду песнопений  
У избирателей ты клянчишь бюллетени,  
Мы говорим: «Постой, ты гордостью смущен!»  
Кого влечет к себе публичная арена,  
Тот должен изложить пред нами откровенно,  
Что для свободы сделал он.

Но подвигам твоим подвесьть мы можем сальдо:  
Мы помним хорошо все гимны в честь Бональда,  
Над реймским алтарем твой серафимский взлет,  
Стихи, в которых ты, не без подобострастья,  
Бурбонов изгнанных оплакивал несчастья  
И к власти им сулил приход.

Но времена прошли возвышенных экстазов,  
Сионских арф, псалмов, библейских пересказов:  
Кого теперь пленить сумел бы пустозвон?  
А впрочем, есть еще на свете Палестина:  
Пожалуй, изберет в парламент Ламартина  
Воспетый им Иерихон.

## Шуан

Он враг республики, сей ревностный католик.  
В нем даже мысль о ней рождает приступ коллик;  
Его влечет к себе дней феодальных даль;  
Он ждет, уйдя в нору, развязки авантюры,  
Которую начнут Бурмоны да Лескюры,  
Бернье, Стофле и Кадудаль.

Заочно осужден на днях судом присяжных,  
От приговоров их уходит он бумажных  
В Анжер иль Морбиган, в Шоле иль Брескуир;  
К престолу господ его глаза воздеты:  
Кто богу молится и носит пистолеты,  
Тот на земле уже не сир.

Невиннее его не сыщешь человека;  
В нем непосредственность есть золотого века:  
Он с четками в руках, в часы ночных забав,  
Раствлиши девушку, шутя ее удавит;  
На дыбе он хребты трехцветным мэрам правит,  
Карая их за вольный нрав.

Он ночью, во главе отчаянной ватаги  
Врываясь в погреб, презренной ищет влаги,  
Всех вин кощунственных непримиримый враг.  
Он твердо убежден, что доблесть лишь проявит,  
Когда свое ружье на дилижанс направит  
И кровью обагрит овраг.

Чтоб соблюсти отцов обычаи и веру,  
Он прячется от всех, как дикий зверь в пещеру,  
В глухое логово и, между тем как там,

В родной часовенке старинные напевы  
Восходят в полумгле к подножью приснодевы,  
Он зверем рыщет по горам.

В ночи республики ему как свет эдемский —  
Не Карл Десятый ли и герцог Ангулемский  
Да юной лилии благоуханный цвет?  
На шее носит он, рисуясь нестерпимо,  
Чеканную медаль — портрет Елиакима  
С лицом уродливым, как бред.

Он, этот мученик, бродящий по дорогам,  
Уже застраховал себя мартирологом  
И к лику праведных окажется причтен;  
Зловонней Иова и Лабра неопрятней,  
Лесных разбойников немногим деликатней,  
Он — роялист, как сам Мандрен.

О, всемогущие правители народа,  
Вам должен нравиться герой такого рода:  
Займитесь же о нем по мере ваших сил.  
Вот истинный француз, достойный подражания:  
Он в городах нигде не подымал восстанья  
И лент трехцветных не носил.

Теофиль Готье

(1811—1872)

### Алмаз сердца

На сердце иль в столе запрятан  
У каждого любви залог,  
К груди не раз бывал прижат он  
И в дни надежд и в дни тревог.

Один, мечте своей покорный,  
Улыбкой ободрен живой,  
Похитил дерзко локон черный,  
Хранящий отсвет голубой.

Другой на белоснежной шее  
Отрезал шелковую прядь,  
Которой тоньше и нежнее  
С кокона невозможно снять.

На дне шкатулки прячет третий  
Перчатку с маленькой руки,  
Тоскуя, что ему не встретить  
Второй, чьи пальцы так тонки.

Вот этот — призрак счастья жалкий  
Стремится воскресить в душе,

Вдыхая пармские фиалки,  
Давно зашитые в саше.

А тот целует Сандрильоны  
Миниатюрный башмачок,  
Меж тем как в маске благовонной  
Влюбленный ловит очерк щек.

Но у меня нет ни перчаток,  
Ни туфельки, ни пряди нет:  
Я на бумаге отпечаток  
Слезы храню, волненья след.

Жемчужиною драгоценной  
Из синих выскользнув очей,  
Она растаяла мгновенно,  
Упав в сосуд любви моей.

И эта капля чистой влаги,  
Алмаз, каких не знал Офир,  
Пятном расплывшись на бумаге,  
Мне заслоняет целый мир,

Затем, что дар судьбы нежданный,  
Из глаз до той поры сухих,  
Скатясь росой благоуханной,  
Она отметила мой стих.

## **Локоны**

Подчеркивая томность взгляда,  
Где грусть и торжество слиты,  
Два локона, как два снаряда,  
Для ловли сердца носишь ты.

Закручен туго, каждый сросся  
С щекой, но ты легко могла б  
Приладить оба, как колеса,  
К ореховой скорлупке Маб.

Иль это лука Купидона  
Два золотые завитка  
Слились в кольцо, прильнув влюбленно  
К виску крылатого стрелка?

Но с миром чисел я в разладе:  
Ведь сердце у меня одно.  
Так чье же на соседней пряди  
Повиснуть рядом с ним должно?

## Леконт де Лиль

(1818—1894)

### Ягуар

За дальней завесью уступов, в алой пене  
Всю местность выкупав, отпламенел закат.  
В пампасах сумрачных, где протянулись тени,  
Проходит трепета вечернего разряд.

С болот, ощеренных высокою осокой,  
С песков, из темных рощ, из щелей голых скал  
Ползет, стремится вверх среди тишины глубокой  
Глухими вздохами насыщенный хорал.

Над тинистой рекой воспрянув из туманов,  
Холодная луна сквозь лиственный шатер  
На спины черные всплывающих кайманов  
Накладывает свой серебряный узор.

Одни из них давно преодолели дрему  
И голода уже испытывают власть,  
Другие, к берегу приблизившись крутому,  
Как пни шершавые, лежат, раскрывши пасть.

Вот час, когда в ветвях, присев на задних лапах,  
Прищуривая глаз и напрягая нюх,

Прекрасношерстый зверь подстерегает запах,  
Живого существа чуть уловимый дух.

Для предстоящих битв он держит наготове  
И зуб и коготь. Весь в стальной собравшись ком,  
Он рвет, грызет кору и в предвкушеньи крови  
Облизывается пунцовым языком.

Согнув спиралью хвост, он бешено им хлещет  
Древесный ствол, затем, приняв дремотный вид,  
Сникает головой на лапу и, в зловеще  
Притворный сон уйдя, неявственно храпит.

Но, вдруг умолкнув и простершись бездыханней  
Гранитной глыбы, ждет, укрытый меж ветвей:  
Громадный бык идет неспешно по поляне,  
Задрав рога и пар пуская из ноздрей.

Еще два-три шага, и, ужасом объятый,  
Бык замирает. Льдом сковав ему бока  
И плоть его сверля, горят во мгле агаты,  
Два красным золотом налитые зрачка.

Шатаясь, издает он жалобные стоны,  
Мычит, влагая в рев предсмертную тоску,  
А ягуар, как лук сорвавшись распрямленный,  
На шею прыгает дрожащему быку.

От страшного толчка чуть не до половины  
Вонзает в землю бык огромные рога,  
Но вскоре, яростный, в бескрайние равнины  
Мчит на своей спине свирепого врага.

По топям, по пескам, по скалам и по дюнам,  
Необоримых чащ пересекая тьму,  
Стремглав проносятся, облиты светом лунным,  
Бык с хищным всадником, прикованным к нему.

И миг за мигом в даль все глубже отступая,  
Отходит горизонт за новую черту,  
И там, где ночь и смерть, еще идет глухая  
Борьба кровавых тел, сращенных налету.

## Хосе-Мариа де Эредиа

(1842—1905)

### Видения эмали

В приюте сумрачном, где ропщет атанор,  
Беснуется в ночи огонь неугомонный,  
И, попирая все природные законы,  
Эмаль кладет на медь роскошный свой узор.

Из-под кистей моих встает, смущая взор,  
Былых чудовищ сонм, искусством воскрешенный:  
Кентавры, Пан и Сфинкс и детища Горгоны,  
Пламякрылатые Пегас и Хризаор.

Ахиллову ли скорбь и смерть Пенфесилей  
Иль Эвридике вслед пришедшего Орфея  
У врат аидовых изображу сейчас?

Победу ли над псом Гераклову в Аверно,  
Иль деву в трепете средь полумглы пещерной,  
Где лалом светится Дракона страшный глаз?

## Шарль Бодлер

(1821—1867)

### Соответствия

Природа — темный храм, где строй столпов живых  
Роняет иногда невнятные реченья;  
В ней лесом символов, исполненных значенья,  
Мы бродим, на себе не видя взоров их.

Как дальних отгулов прерывистая хрия  
Нам предстоит порой в единстве звуковым,  
Так в соответствии находятся прямом  
Все краски, голоса и запахи земные.

Меж ароматами есть свежие, как плоть  
Младенца, нежные, как музыка гобоя,  
Зеленые, как луг. Другие — расколоть

Хотят сознание, и, чувства беспокоя  
Порочной роскошью и гордостью слепой,  
Нас манят фимиам и мускус и бензой.

### Идеал

Нет, ни красотками с зализанных картинок —  
Столетия пошлого разлитый всюду яд! —

Ни ножкой, втиснутой в шнурованный ботинок,  
Ни ручкой с веером меня не соблазнят.

Пуškai восторженно поет свои хлорозы,  
Больничной красотой пленяясь, Гаварни —  
Противны мне его чахоточные розы:  
Мой красный идеал никак им не сродни!

Нет, сердцу моему, повисшему над бездной,  
Лишь, леди Макбет, вы близки душой железной,  
Вы, воплощенная Эсхилова мечта,

Да, ты, о Ночь, пленить еще способна взор мой,  
Дочь Микеланджело, обязанная формой  
Титанам, лишь тобой насытившим уста!

Поль Верлен  
(1844—1896)

**Марина**

Океан, в котором  
Звонок плеск волны,  
Мечется под взором  
Траурной луны,

И, вгрызаясь резче  
В неба бурый мрак,  
Блещет в нем зловещий  
Молнии зигзаг.

В судороге пьяной  
Каждый новый вал  
Пляшет, плещет рьяно  
Вдоль подводных скал,

А по небосводу,  
Рыща напролом,  
Рвется на свободу  
Ураганный гром.

## A poor young shepherd \*

Я боюсь поцелуя:  
Он — пчелиный укус.  
Днем и ночью влачу я  
Страха тягостный груз.  
Я боюсь поцелуя!

Но глаза хрупкой Кэт —  
Словно пара агатов,  
И лица ее цвет  
Обольстительно матов.  
Ах, мне нравится Кэт!

Завтра день Валентина,  
И предстать должен я  
Перед нею с повинной...  
Где ж решимость моя  
В страшный день Валентина?

Мы помолвлены с ней —  
Это было бы счастье,  
Если б в лучший из дней  
Тайной мучимый страстью  
Я не млея перед ней!

Я боюсь поцелуя:  
Он — пчелиный укус.  
Днем и ночью влачу я  
Страха тягостный груз.  
Я боюсь поцелуя!

---

\* Бедный пастушок

В трактирах пьяный гул, на тротуарах грязь,  
В промозглом воздухе платанов голых вязь,  
Скрипучий омнибус, чьи грузные колеса  
Враждуют с кузовом, сидящим как-то косо  
И в ночь вперяющим два тусклых фонаря,  
Рабочие, гурьбой бредущие, куря  
У полицейского под носом носогрейки,  
Дырявых крыш капель, осклизлые скамейки,  
Канавы, полные навозом через край, —  
Вот какова она, моя дорога в рай!

### **Последнее изящное празднество**

Расстанемся друг с другом навсегда,  
Сеньоры и прелестнейшие дамы.  
Долой — слезливые эпиталамы  
И страсти сдерживавшая узда!

Ни вздохов, ни чувствительности ложной!  
Нам страшно сознавать себя сродни  
Баронам, на которых в оны дни  
Напялил ленты стихоплет ничтожный.

Жеманясь и касаясь лишь слегка  
Утех любви, мы были смешноваты.  
Амур суровый требует расплаты —  
И кто осудит юного божка?

Расстанемся же и, забыв о том,  
Что бляели недавно по-бараньи,  
Объявим ревом о своем желаньи  
Отплыть скорей в Гоморру и Содом.

## Сатурническая поэма

Право, и дьявол тут мог бы смутиться.  
Я опьянел в этот солнечный день.  
Что было хуже: сама ли певица  
Или тупая ее дребедень?

Под керосиновой лампой пьянино...  
Дым, изо всех наползавший углов...  
Печень больная была ли причиной,  
Но я не слышал собственных слов.

Все расплывалось в каком-то угаре,  
Желчь клокотала во мне, как фонтан.  
О, эти арии в репертуаре  
Хари, укрытой за слоем румян!

После мороженого я скоро  
Вышел на воздух в открытый сад,  
Где с меня не сводили взора  
Три мальчугана с глазами трибад.

Эти бездельники за парашютом  
Станции стали еще наглей.  
Я заорал на них, но при этом  
Пепла наелся сигары своей.

Вот и конец наважденью: я — дома!  
Кто-то мне на ухо шепчет... Нет,  
Это не явь, а все та же дрема!  
К счастью, ночь на исходе... Рассвет...

## Сафо

С тугими персями, с запавшим глазами  
Вдоль хладных берегов волчицей Сафо бродит.  
Ей распирает грудь желаний томных пламя,

И о Фаоне мысль до бешенства доводит:  
Все слезы презрел он! Забывши об обряде,  
Она густых, как ночь, волос терзает пряди.

О, если б вырваться из тягостного плена  
В те времена, когда свою любовь напевам  
Ей нравилось верить, чтобы в стихах нетленно  
Их память сберегла в усладу спящим девам!

И вот, окликнута из моря Мойры зевом,  
Она бросается в него белей, чем пена,  
Меж тем как в небесах, пылая правым гневом,  
Отмстительницею Подруг встает Селена.

## Жан-Артюр Рембо

(1854—1891)

### Ощущение

В сапфире сумерек пойду я вдоль межи,  
Ступая по траве подошвою босою.  
Лицо исклюют мне колосья спелой ржи,  
И придорожный куст обдаст меня росюю.

Не буду говорить и думать ни о чем —  
Пусть бесконечная любовь владеет мною —  
И побреду, куда глаза глядят, путем  
Природы — счастлив с ней, как с женщиной земною.

### Офелия

I

По черной глади вод, где звезды спят беспечно,  
Огромной лилией Офелия плывет,  
Плывет, закутана фатою подвенечной.  
В лесу далеком крик: олень замедлил ход.

По сумрачной реке уже тысячелетье  
Плывет Офелия, подобная цветку;  
В тысячелетие, безумной, не допеть ей  
Свою невнятицу ночному ветерку.

Лобзая грудь ее, фатою прихотливо  
Играет бриз, венком ей обрамляя лик.  
Плакучая над ней рыдает молча ива.  
К мечтательному лбу склоняется тростник.

Не раз пришлось пред ней кувшинкам расступиться.  
Порою, разбудив уснувшую ольху,  
Она испугнет гнездо, где встрепенется птица.  
Песнь золотых светил звенит над ней, вверху.

## II

Офелия, белей и лучезарней снега,  
Ты юной умерла, унесена рекой:  
Не потому ль, что ветер норвежских гор с разбега  
О терпкой вольности шептаться стал с тобой?

Не потому ль, что он, взвевая каждый волос,  
Нес в посыле своем мечтаний дивных сев?  
Что услышала ты самой Природы голос  
Во вздохах сумерек и жалобах дерев?

Что голоса морей, как смерти хрип победный,  
Разбили грудь тебе, дитя? Что твой жених,  
Тот бледный кавалер, тот сумасшедший бедный,  
Апрельским утром сел, немой, у ног твоих?

Свобода! Небеса! Любовь! В огне, такого  
Виденья, хрупкая, ты таяла, как снег;  
Оно безмерностью твое глушило слово  
— И Бесконечность взор смутила твой навек.

### III

И вот Поэт твердит, что ты при звездах ночью  
Сбираешь свой букет в волнах, как в цветнике.  
И что Офелию он увидел воочью  
Огромной лилией, плывущей по реке.

## На музыке

### *Вокзальная площадь в Шарлевиле*

На чахлом скверике (о, до чего он весь  
Прилизан, точно взят из благой книжки!)  
Мещане рыхлые, страдая от одышки,  
По четвергам свою прогуливают спесь.

Визгливым флейтам в такт колышет киверами  
Оркестр; вокруг него вертится ловелас  
И щеголь, подходя то к той, то к этой даме;  
Нотариус с брелков своих не сводит глаз.

Рантье злорадно ждут, чтоб музыкант сфальшивил;  
Чиновные тузы влачат громоздких жен,  
А рядом, как вожак, который в сквер их вывел,  
Их отпрыск шествует, в воланы разряжен.

На скамьях бывшие торговцы бакалеей  
О дипломатии ведут серьезный спор  
И переводят все на золото, жалея,  
Что их советам власть не вняла до сих пор.

Задастый буржуа, пузан самодовольный,  
(С фламандским животом усестся — не пустяк!)  
Посасывает свой чубук: безбандерольный  
Из трубки вниз ползет волокнами табак.

Забравшись в мураву, гогочет голоштанник.  
Вдыхая запах роз, любовное питье  
В тромбонном вое пьет с восторгом солдатъе  
И возится с детьми, чтоб улестить их нянек.

Как матерой студент, неряшливо одет,  
Я за девчонками в тени каштанов томных  
Слежу. Им ясно все. Смеясь, они в ответ  
Мне шлют украдкой взгляд, где тьма вещей  
нескромных.

Но я безмолвствую и лишь смотрю в упор  
На шеи белые, на вьющиеся пряди,  
И под корсажами угадывает взор  
Все, что скрывается в девическом наряде.

Гляжу на туфельки и выше: дивный сон!  
Сгораю в пламени чудесных лихорадок.  
Резвухи шепчутся, решив, что я смешон,  
Но поцелуй, у губ рождающийся, сладок...

## Роман

### I

Нет рассудительных людей в семнадцать лет! —  
Июнь. Вечерний час. В стаканах лимонады.  
Шумливые кафе. Кричаще-яркий свет.  
Вы направляетесь под липы эспланады.

Они теперь в цвету и запахом томлят.  
Вам хочется дремать блаженно и лениво.  
Прохладный ветерок доносит аромат  
И виноградных лоз и мюнхенского пива.

### II

Вы замечаете сквозь ветку над собой  
Обрывок голубой тряпицы с неумело  
Приколотой к нему мизерною звездой,  
Дрожащей, маленькой и совершенно белой.

Июнь! Семнадцать лет! Сильнее крепких вин  
Пьянит такая ночь... Как будто бы спросонок,  
Вы смотрите вокруг, шатаетесь один,  
А поцелуй у губ трепещет, как мышонок.

### III

В сороковой роман мечта уносит вас...  
Вдруг — в свете фонаря, — прервав виденья ваши,  
Проходит девушка, закутанная в газ,  
Под тенью страшного воротника папаши.

И, находя, что так растерянно, как вы,  
Смешно бежать за ней без видимой причины,  
Оглядывает вас... И замерли, увы,  
На трепетных губах все ваши каватины.

#### IV

Вы влюблены в нее. До августа она  
Внимает весело восторженным сонетам.  
Друзья ушли от вас: влюбленность им смешна.  
Но вдруг... ее письмо с насмешливым ответом.

В тот вечер... вас опять влекут толпа и свет...  
Вы входите в кафе, спросивши лимонаду...  
Нет рассудительных людей в семнадцать лет  
Среди шлифующих усердно эспланаду!

### Зло

Меж тем как красная харкотина картечи  
Со свистом бороздит лазурный небосвод  
И, слову короля послушны, по-овечьи  
Бросаются полки в огонь, за взводом взвод;

Меж тем как жернова чудовищные бойни  
Спешат перемолоть тела людей в навоз  
(Природа, можно ли взирать еще спокойней,  
Чем ты, на мертвецов, гниющих между роз?) —

Есть бог, глумящийся над блеском напрестольных  
Пелен и ладаном кадилъниц. Он уснул,  
Осанн торжественных внимая смутный гул,

Но вспрянет вновь, когда одна из богомольных  
Скорбящих матерей, припав к нему в тоске,  
Достанет медный грош, завязанный в платке.

### **Вечерняя молитва**

Прекрасный херувим с руками брадобрея,  
Я коротаю день за кружкою резной:  
От пива мой живот, вздуваясь и жирея,  
Стал сходен с парусом над водной пеленой.

Как в птичнике помет дымится голубиный,  
Томя ожогами, во мне роятся сны,  
И сердце иногда печально, как рябины,  
Окрашенные в кровь осенней желтизны.

Когда же, тщательно все сны переварив  
И весело себя по животу похлопав,  
Встаю из-за стола, я чувствую позыв...

Спокойный, как творец и кедра и иссопов,  
Пускаю ввысь струю, искусно окропив  
Янтарной жидкостью семью гелиотропов.

### **Пьяный корабль**

Когда бесстрастных Рек я вверился течению,  
Не подчинялся я уже бичевщикам:  
Индейцы-крикуны их сделали мишенью,  
Нагими пригвоздив к расписанным столбам.

Мне было все равно: английская ли пряжа,  
Фламандское ль зерно мой наполняют трюм.  
Едва я буйного лишился экипажа,  
Как с дозволения Рек понесся наобум.

Я мчался под морских приливов плеск суровый,  
Минувшею зимой, как мозг ребенка, глух,  
И Полуострова, отдавшие найтовы,  
В сумятице с трудом переводили дух.

Благословение приняв от урагана,  
Я десять суток плыл, пускась, как пробка, в пляс  
По волнам, трупы жертв влекущим неустанно,  
И тусклых фонарей забыл дурацкий глаз.

Как мякоть яблока моченого приятна  
Дитяти, так волны мне сладок был набег;  
Омыв блевотиной и вин сапфирных пятна  
Оставив мне, снесла она и руль и дрек.

С тех пор я ринулся, пленен ее простором,  
В поэму моря, в звезд таинственный настой,  
Лазури водные глотая, по которым  
Плывет задумчивый утопленник порой.

И где, окрасив вдруг все бреды, все сапфиры,  
Все ритмы вялые златистостью дневной,  
Сильней, чем алкоголь, звончей, чем ваши лиры,  
Любовный бродит сок горчайшей рыжиной.

Я знаю молнией разорванный до края  
Небесный свод, смерчи, водоворотов жуть,  
И всполошенную, как робких горлиц стая,  
Зарю, и то, на что не смел никто взглянуть.

Я видел солнца диск, который, холодея,  
Сочился сгустками сиреневых полос,  
И вал, на древнего похожий лицедея,  
Объятый трепетом, как лопасти колес.

В зеленой снежной мгле мне снились океанов  
Лобзания; в ночи моим предстал глазам,  
Круговращеньем сил неслыханных воспрянув,  
Певучих фосфоров светящийся сезам.

Я видел, как прибор — коровник в истерии, —  
Дрожа от ярости, бросался на утес,  
Но я еще не знал, что светлых ног Марии  
Страшится Океан — отдышливый Колосс.

Я плыл вдоль берегов Флорид, где так похожи  
Цветы на глаз пантер; людская кожа там  
Подобна радугам, протянутым, как вожжи,  
Под овидью морей к лазоревым стадам.

Болота видел я, где, разлагаясь в гнили  
Необозримых верш, лежит Левиафан,  
Кипенье бурных вод, взрывающее штили,  
И водопад, вдали гремящий, как таран,

Закаты, глетчеры, и солнца, лун бледнее,  
В заливах сумрачных чудовищный улов:  
С деревьев скрюченных скатившиеся змеи,  
Покрытые живой коростою клопов.

Я детям показать поющую доряду  
Хотел бы, с чешуей багряно-золотой.  
За все блуждания я ветрами в награду  
Обрызган пеной был и окрылен порой.

Порой, от всех широт устав смертельно, море,  
Чей вопль так сладостно укачивал меня,  
Дарило мне цветы, странней фантазмагорий,  
И я, как женщина, колени преклоня,

Носился, на борту лелея груз проклятый,  
Помет крикливых птиц, отверженья печать,  
Меж тем как внутрь меня сквозь хрупкие охваты,  
Попятившись, вливал утопленник поспать.

И вот, ощеренный травой бухт, злодейски  
Окутавшей меня, я тот, кого извлечь  
Не в силах монитор, ни парусник ганзейский  
Из вод, дурманящих мой кузов, давший течь;

Я, весь дымящийся, чей остов фиолетов,  
Я, пробивавший твердь, как рушат стену, чей  
Кирпич покрылся сплошь — о лакомство поэтов! —  
И лишаями солнц и соплями дождей;

Я, весь в блуждающих огнях, летевший пулей,  
Сопровождаемый толпой морских коньков,  
В то время как стекал под палицей июлей  
Ультрамарин небес в воронки облаков;

Я, слышавший вдали, Мальштрем, твои раскаты  
И хриплый голос твой при случке, бегемот,  
Я, неподвижностей лазурных соглядатай,  
Хочу вернуться вновь в тишь европейских вод.

Я видел звездные архипелаги в лоне  
Отверстых мне небес — скитальческий мой бред:  
В такую ль ночь ты спишь, беглянка, в миллионе  
Золотоперых птиц, о Мощь грядущих лет?

Я вдоволь пролил слез. Все луны так свирепы,  
Все зори горестны, все солнца жестоки,  
О, пусть мой киль скорей расколется буря в щепы.  
Пусть поглотят меня подводные пески.

Нет, если мне нужна Европа, то такая,  
Где перед лужицей в вечерний час дитя  
Сидит на корточках, кораблик свой пуская,  
В пахучем сумраке бог весть о чем грустя.

Я не могу уже, о волны, пьян от влаги,  
Пересекать пути всех грузовых судов,  
Ни вашей гордостью дышать, огни и флаги,  
Ни плыть под взорами ужасными мостов.

### **Искательницы вшей**

Когда на детский лоб, расчесанный до крови,  
Нисходит облаком прозрачный рой теней,  
Ребенок видит вьявь склоненных наготове  
Двух ласковых сестер с руками нежных фей.

Вот, усадив его вблизи оконной рамы,  
Где в синем воздухе купаются цветы,  
Они бестрепетно в его колтун упрямый  
Вонзают дивные и страшные персты.

Он слышит, как поет тягуче и невнятно  
Дыханья робкого невыразимый мед,  
Как с легким присвистом вбирается обратно —  
Слюна иль поцелуй? — в полуоткрытый рот...

Пьянея, слышит он в безмолвии стоутом  
Биенье их ресниц и тонких пальцев дрожь,  
Едва испустит дух с чуть уловимым хрустом  
Под ногтем царственным раздавленная вошь...

В нем пробуждается вино чудесной лени,  
Как вздох гармоники, как бреда благодать,  
И в сердце, млеющем от сладких вожделений,  
То гаснет, то горит желанье зарыдать.

### **Что говорят поэту о цветах**

(Отрывок)

Найди-ка в жилах черных руд  
Цветок, ценимый всеми на вес:  
Миндалевидный изумруд,  
Пробивший каменную завязь!

Шутник, подай-ка нам скорей,  
Презрев кухарок пересуды,  
Рагу из паточных лилей,  
Разъевших альфенид посуды!

## Стефан Малларме

(1842—1898)

\* \* \*

Отходит кружево опять  
В сомнении Игры верховной.  
Полуоткрыв альков греховный —  
Отсутствующую кровать.

С себе подобной продолжать  
Гирлянда хочет спор любовный,  
Чтоб, в глади зеркала бескровной  
Порхая, тайну обнажать.

Но у того, чьим снам опора  
Печально спящая мандора,  
Его виденья золотя,

Она таит от стекол окон  
Живот, к которому привлек он  
Ее, как нежное дитя.

Жюль Лафорг

(1860—1887)

### Настроения

Я болен сердцем, я на лад настроен лунный.  
О тишина, простри вокруг свои лагуны!  
О кровли, жемчуга, бассейны темноты,  
Гробницы, лилии, озябшие коты,  
Поклонимся луне, властительнице нашей:  
Она — причастие, хранящееся в чаше  
Безмолвия, она прекрасна без прикрас,  
В оправе траурной сверкающий алмаз.  
Быть может, о луна, я и мечтатель нудный,  
Но все-таки скажи: ужели безрассудно  
Хоть в мыслях преклонить колени пред тобой,  
Как Христофор Колумб пред новою судьбой?  
Ни слова более. Начнем богослуженье  
Ночей, настоянных на лунном излученьи.  
Вращайся медленней, лишенный всех услад,  
О фиброинный диск, о трижды скорбный град!  
Кентавров вспомяни, Пальмиру дней счастливых,  
Курносых сфинксов спесь, что спят в стовратных Фивах,  
И из-под озера Летейского ответь,  
Какой Гоморрою тебе дано дотлеть?  
Как относительны пристрастья человека,  
Его «люблю тебя»! Какая подоплека

У «добрых вечеров» его и «добрых утр»!  
Кружить вокруг любви, боясь проникнуть внутрь...  
— Ах, сколько раз долбить я должен в лоб чугунный:  
Я болен сердцем, я на лад настроен лунный.

### **Из «Изречений Пьеро»**

Ах, что за ночи без луны!  
Какие дивные кошмары!  
Иль въяве лебедей полны  
Там, за порогом, дортуары?

С тобой я здесь, с тобой везде.  
Ты сердцу дашь двойную силу,  
Чтоб в мутной выудить воде  
Джоконду, Еву и Далилу.

Ах, разреши предсмертный бред  
И, распятому богомолу,  
Продай мне наконец секрет  
Причастности к другому полу!

Морис Роллина

(1846—1903)

### Магазин самоубийства

«Вот — верный пистолет... отточенные бритвы...  
Веревка... хлороформ... Надежней не найти!  
Попробуйте, клянусь: ни папские молитвы,  
Ни лучшие врачи не смогут вас спасти!

Вот — яды разных змей... Растительные... Я бы  
Советовал вам взять кураре... Иль вот тут —  
Напиток, сваренный из сока кучелябы:  
В одно мгновение он скрутит вас, как жгут.

За каждый проданный снаряд самоубийства  
Даем ручательство, и это не витийство,  
Но лучшее из средств покинуть дольний мир», —

Он указал на дверь, заделанную в стену, —  
«Ему научат вас за небольшую цену  
Девушка Осьминог и госпожа Вампир».

## Тристан Корбьер

(1845—1875)

### Скверный пейзаж

Песок и прах. Волна хрипит и тает,  
Как дальний звон. Волна. Еще волна.  
— Зловонное болото, где глотает  
Больших червей голодная луна.

Здесь медленно варится лихорадка,  
Изнемогает бледный огонек,  
Колдует заяц и трепещет сладко  
В гнилой траве, готовый наутек.

На волчьем солнце расстилает прачка  
Белье умерших — грязное тряпье,  
И, все грибы за вечер перепачкав

Холодной слизью, вечное свое  
Несчастье оплакивают жабы  
Размерно-лирическим «когда бы».

### Идальго

О, все они горды!.. как на коросте вши!  
Они ограбят вас, но так, что вы — растаяв  
От восхищения — на самом дне души  
Почти полюбите отважных негодяев.

Их запах не совсем хорош. Зато их вид  
Очарователен — в них чувствуется раса.  
Вот — не угодно ли? — набросок: нищий Сид..  
Великолепный Сид бездельников Козаса...

Я брел с подругою. Дорога, вся в огне,  
Казалось, напрокат взята из преисподней,  
Вдруг — Сид — во весь опор... и я прижат к стене  
Загравком лошади. — Ах, милостью господней

Я заклинаю вас: головку лука... су..  
Я большего просить не смею у сеньора..  
(А лошадь у меня почти что на носу),  
Она уж любит вас, бедняга! — Слишком скоро!

Дорогу! — О, хотя б окуроч!.. помоги  
Вам Дева за добро. — Отстань, ты тратишь время  
Напрасно! Пропусти!.. (Он пальцами ноги  
Тихонько мой карман затягивает в стремя).

— Молю о жалости! — и, получивши су: —  
Благодарю, сеньор, за ангельское дело..  
Сеньора! Дивная! Спасибо за красу,  
А также и за то, что на меня глядела!..

Лоран Тайад

(1854—1919)

### Баркарола

На катере и гам и вопли,  
Полно разряженных мешан.  
Их детям утирают сопли,  
Но это — зрительный обман.

Пускай вокруг колышет Сена  
Собачьи трупы, дохлых кур,  
Им в свежем ветре запах сена  
Шлет вожденный Бильянкур.

А их ужасные подруги,  
Под блузкой распустив подруги.  
Потеют — им нехорошо! —

И жмутся с негою во взорах  
К японцам сумрачным, которых  
Одел с иголочки Годшо.

## Площадь Побед

Уроды-женщины, уткнувши в ноты нос,  
Прослушали концерт и, выйдя от Эрара,  
Столкнулись с Фриною, царицей тротуара,  
Пленяющей мужчин фальшивым золотом кос.

Решая, подчеркнул ли всюду тему фуги  
Венгерский пианист, которого перо  
Продажное давно уж хвалит в «Фигаро»,  
Они посплетничать не прочь и о прислуге.

Покорные мужья, бредя вослед своим  
Супругам яростным, поддакивают им,  
Хоть жертвам музыки стократ милей шарманка,

И, лишь слегка задет тенями их фигур,  
Людовик, перед кем не устоял Намюр,  
Уныло смотрится годами в двери банка.

## Sur Champ d'or

Конечно, Бенуа на стороне людей  
Свободомыслящих и любящих Вольтера.  
Во всеоружии передовых идей  
Он сам разоблачит монаха-лицемера.

Но так как верует в Христа его жена,  
То крошка Бенуа под белым покрывалом  
Пошла к причастию, а вечером должна  
Присутствовать на том, что называют «балом».

В замыганном бистро, где пьют за литром литр,  
В перчатках шелковых обручица царит,  
Тоскующий бильярд избрав себе подножеством,

А пьяный Бенуа уж на церковный лад  
Настроился совсем и непритворно рад  
Союзу дочери невинной с сыном божьим.

### **Посвящение**

Он хвалит свой товар, но сдержанно: народ  
Зевак во всем готов увидеть повод к сплетням.  
«Слоноподобная Венера! Только вход  
Не разрешается несовершеннолетним!»

Безусые юнцы, солдатики, легко  
В предложенную им уверовав программу,  
Проходят под навес, где предъявляют даму —  
Сто пятьдесят кило, затянутых в трико.

Один из простаков, объятый страстным пылом  
К гигантской женщине, совсем прирос к перилам  
И делает свой взнос вторично торгашу,

Как вдруг из темноты неотразимо-томен,  
Желая ободрить его, басит феномен:  
«Ты можешь трогать все — ведь я не укушу!»

Эмиль Верхарн

(1855—1916)

### К будущему

О род людской, твой путь в небесные глубины  
Лежит среди светил, но кто б сумел из нас  
Ответить, что за вихрь потряс  
Твою судьбу за век единый!

Прорвавшись в высоту, сквозь облачный шатер,  
И самых дальних звезд разоблачив убранство,  
Из ночи в ночь и вновь из одного пространства  
В другое странствует неутомимый взор.

Меж тем как под землей, где дремлют вереницы  
Бесчисленных годов, где целые века  
Пластами залегли, пытливая рука,  
Нашупав их, на свет выводит из гробницы.

Стремление во всем отдать себе отчет  
Одушевляет лес существ прямостоящий,  
И человек, сквозь все проламываясь чащи,  
Свои права и долг извечный познает.

В ферменте и в пыли, аморфной и инертной,  
И в атоме есть жизнь; и все заключено  
В несчетный ряд сетей, которые дано  
Сжимать и разжимать материи бессмертной.

Искатель золота, мудрец, артист, герой —  
Все в ежедневный бой вступают с Неизвестным.  
Благодаря трудам их разным иль совместным  
Мы мироздание осознаем собой.

И это вы одни лишь,  
О города,  
Как сила грозная, которой не осилишь,  
Восстали навсегда  
Среди равнины  
И среди долины,  
Сосредоточивши достаточно людей,  
Кипенья рдяных сил и пламенных идей,  
Чтоб лихорадкою и яростью священной  
Зажечь сердца у всех смиренных  
И надменных,  
Кому лишь удалось,  
Открыв закон миров, в себе увидеть ось  
Вселенной.

Господень дух вчера еще был духом сел.  
Враждебный опыту и мятежу, все клятвы  
Он рабски блюл. Он пал, и по нему прошел  
Горящий воз снопов, как символ новой жатвы.

На обреченное погибели село  
Со всех сторон летят разрухи ветры злые,  
А город издали последнее тепло  
Старается извлечь из этой агонии.

Где золотилась рожь, маховики стучат.  
По крыше церкви дым драконом вьется черным,  
Мы движемся вперед, и солнечный закат  
Уже не кажется причастьем чудотворным.

Проснутся ль некогда поля, исцелены  
От ужасов, безумств и зол средневековья,  
Садами светлыми, сосудами весны,  
До края полными цветущего здоровья?

В подмогу взяв себе и подъяремный скот,  
И ветер, и дожди, и солнца дар нетленный,  
Построят ли они свой новый мир — оплот,  
Спасающий людей от городского плена?

Иль станут, навсегда былых богов изгнав,  
Они последними подобиями рая,  
Куда в полдневный час придет мечтать конклав  
Усталых мудрецов, дремоту поборая?

Покуда ж к прошлому сжигая все мосты,  
Жизнь стала радостью безумно-дерзновенной.  
Что долг и что права? Лишь зыбкие мечты  
Твои, о молодость, наследница вселенной!



## Пленный шах

Я — шах, но все мои владенья в этом мире —  
Листок, где нарисован я.  
Они, как видите, увы, едва ли шире  
Намного, чем ладонь моя.

Я, любовавшийся денницей золотою  
С террас двухсот моих дворцов,  
Куда бы я ни шел, влачивший за собою  
Толпу угодливых льстецов,

Отныне обречен томиться в заточеньи,  
Замкнут навеки в книжный лист,  
Где рамкой окружил мое изображение  
Иранский миниатюрист.

Но не смутит меня, не знающего страха  
Ни пред судьбой, враждебной мне,  
Ни пред убийственным бесстрашием Аллаха,  
Изгнание в дальней стороне,

Пока бумажных стен своей темницы тесной  
Я — благородный властелин,  
И, в мой тюрбан вкраплен, горит звездой чудесной  
На шелке пурпурный рубин;

Пока гарцую я на жеребце кауром,  
И сокол в пестром клубучке,  
Наохлившись, застыл в оцепененьи хмуром,  
Как прежде, на моей руке;

Пока кривой кинжал, в тугие вложен ножны,  
    За поясом моим торчит;  
Пока к индийскому седлу, мой друг надежный,  
    Еще подвешен круглый щит;

Пока, видениям доверившись спокойным,  
    Я проезжаю свежий луг,  
И всходит в небесах над кипарисом стройным  
    Луны упавший навзничь лук;

Пока, с моим конем коня пуская в ногу,  
    Подруга нежная моя  
В ночном безмолвии внимает всю дорогу  
    Печальным трелям соловья

И, высказать свою любовь не смея прямо,  
    Слегка склоняется ко мне,  
Строфу Саади иль Омара Хайяма  
    Нашептывая в полусне.

## Альбер Самен

(1858—1900)

### Конец империи

В просторном атрии под бюстом триумвира  
Аркадий, завитой, как юный вертопрах,  
Внимает чтению эфеба из Эпира...  
Папирус греческий, руки предсмертный взмах —

Идиллия меж роз у вод синей сапфира,  
Но стих сюсюкает и тлением пропах.  
Вдыхая лилию, владыка полумира  
Застыл с улыбкою в подведенных глазах.

К нему с докладами подходят полководцы:  
Войска бегут... с врагом уже нельзя бороться,  
Но императора все так же ясен вид.

Лишь предок мраморный, чело насупив грозно,  
Затрепетал в углу, услышав, как трещит  
Костяк империи зловеще грандиозной.

### Ноктюрн

Ночное празднество в Бергаме. Оттого ли,  
Что мягким сумраком весь парк заворужен,

Цветам мечтается, и в легком ореоле  
Холодная луна взошла на небосклон.

В гондолах медленно подплыв к дворцу Ланцоли,  
Выходят пары в сад. За мрамором колонн  
Оркестр ведет Люли. При вспышках жирандолей  
Бал открывается, как чародейный сон.

Сильфид, порхающих на всем пространстве залы,  
Высокой пошлостью пленяют мадригалы,  
И старых сплетниц суд не так уже суров.

Когда, напомнивши о временах регентства,  
Гавотов томное им предстоит блаженство  
В размеренной игре пахучих вееров.

## Франсис Жамм

(1868—1938)

\* \* \*

Зачем влачат волы тяжелый груз телег?  
Нам грустно видеть их понуренные лбы,  
Страдальческий их взгляд, исполненный мольбы.  
Но как же селянин без них промыслит хлеб?

Когда у них уже нет сил, ветеринары  
Дают им снадобья, железом жгут каленым.  
Потом волы опять, в ярем впрягаясь старый,  
Волочат борону по полосам взрыхленным.

Порой случается, сломает ногу вол:  
Тогда его ведут на бойню преспокойно,  
Вола, внимавшего сверчку на ниве знойной,

Вола, который весь свой век послушно брел  
Под окрики крестьян, уставших от труда,  
На жарком солнце — брел, не зная сам, куда.

\* \* \*

Послушай, как в саду, где жимолость цветет,  
Снегирь на персике залиvisto поет!  
Как трель его с водою схожа чистой,  
В которой воздух преломлен лучистый!

Мне грустно до смерти, хотя меня  
Дарили многие любовью, а одна и нынче влюблена.

Скончалась первая. Скончалась и вторая.  
Что случилось с третьей — я не знаю.

Однако есть еще одна.  
Она — как нежная луна.

В послеобеденную пору  
Мы с ней пойдем гулять по городу —

Быть может, по кварталам богачей,  
Вдоль вилл и парков, где не счесть затей.

Решетки, розы, лавры и ворота  
Сплошь на запоре, словно знают что-то.

Ах, будь я тоже богачом,  
Мы с Амарильей жили б здесь вдвоем.

Ее зову я Амарильей. Это  
Звучит смешно? Ничуть — в устах поэта.

Ты полагаешь, в двадцать восемь лет  
Приятно сознавать, что ты поэт?

Имея десять франков в кошельке,  
Я в страшной нахожусь тоске.

Но Амарилье, заключаю я,  
Нужны не деньги, а любовь моя.

Пусть мне не платят гонорара даже  
В «Меркюре», даже в «Эрмитаже» —

Что ж? Амарилья кроткая моя  
Умна и рассудительна, как я.

Полсотни франков нам бы надобно всего.  
Но можно ль все иметь — и сердце сверх того?

Да, если б Ротшильд ей сказал: «Идем ко мне...»  
Она ему ответила бы: «Нет!

Я к платью моему не дам вам прикоснуться:  
Ведь у меня есть друг, которого люблю я...»

И если б Ротшильд ей сказал: «А как же имя  
Того... ну, словом, этого... поэта?»

Она б ответила: «Франсисом Жаммом  
Его зовут». Но, думаю, беда

Была бы в том, что Ротшильд о таком  
Поэте и не слышал никогда.

## **Зеваки**

Продельвали опыты зеваки  
В коротких панталонах, и шутник  
Мог искрой, высеченною во мраке,  
Чудовищный баллона вызвать взрыв.

Взвивался шар, наряднее театра,  
И падал в ахающую толпу.  
Горели братья Монгольфье отвагой,  
И волновалась Академия наук.

Поль Фор

(1872—1960)

### Филомела

Пой в сердце тишины, незримый соловей!  
Все розы слушают, склоняясь со стеблей.

Крыло серебряной луны скользит несмело.  
Среди недвижных роз тоскует Филомела.

Среди недвижных роз, чей аромат сильней  
От невозможности отдать всю душу ей.

Как пенье соловья в ночи совсем беззвездной  
Похоже на призыв к богам подземной Бездны!

Нет — к розам, аромат которых тем сильней,  
Чем больше этот гимн влечет их в мир теней!

Не сердце ль тишины теперь само поет?  
Куст облетевших роз — дремоты сладкой гнет...

Безмолвье, молниями насыщенное бури,  
Иль безмятежное, как облако в лазури,

Всю ночь подчинено тебе лишь одному,  
Пэан, навеянный луною Филомеле!

О песнь бессмертная! Не птички это трели!  
Ах, волшебства ее нельзя преодолеть.

Не из Аида ли исходят эти трели?  
Но даже вздоха нет у роз, чтоб умереть.

И все же, без него что за метаморфозы!  
Луна присутствует при том, как гибнут розы,

Уже на всех кустах они склонили стебли,  
И вихрь опавших роз проносится, колебля

Траву, и без того смятенную твоей  
Бессмертной песнею, незримый соловей!

Объятый трепетом, роняет листья сад,  
Блеснув из облака, луна ушла назад.

Продрогнув в мураве пугливой и во мгле,  
О лепестки, скорей прислушайтесь к земле.

Прислушайтесь: идет гроза из бездн Аида.  
Сердцебиением вселенной полон сад.

Глухой удар. Второй и третий вслед восходят.  
Другие, звонкие и чистые, восходят.

Плененное землей, все ближе сердце. Стук  
Его все явственней в траве, примятой ветром.

Порхают лепестки. Земля уже разверзлась.  
И в розах, голубых от лунного сиянья,

Богиня вечная, всеильная Кибела,  
Подъяв чело, тебе внимает, Филомела.

## Жан Мореас

(1856—1910)

### Стансы

Под проливным дождем я полем шел, ступая  
По рытвинам с водой, где грозового дня  
Поблескивала мне едва заря скупая,  
И ворон сумрачный сопровождал меня.

Далекой молнии предшествовал мне сполох,  
И Аквилон терзал меня своим крылом,  
Но буря не могла рассеять чувств тяжелых,  
Глухим неистовством перекрывавших гром.

Вассалы осени, и ясени, и клены,  
К ее стопам несли листвы златую сыть,  
А ворон продолжал кружиться, непреклонный,  
Моей судьбы никак не в силах изменить.

### Стансы

Лишь к мертвецам лицо обращено мое,  
Я все не сговорюсь со славою своею,

Зерном моих борозд живится воронье,  
Мне жатвы не собрать, хоть я пашу и сею.

Но я не сетую. Пусть злится Аквилон,  
Пушай меня клеймят, пушай, кто хочет — свищет:  
Что нужды, если твой, о лира, тихий звон  
Искусней с каждым днем становится и чище?

Андре Жид

(1869—1951)

**Из «Стихов Андре Вальтера»**

I

Нас нынче обошла весна, о дорогая,  
И песен и цветов как будто избегая;  
Апрельских не было совсем метаморфоз:  
Нам не придется вить венки из легких роз.

Еще при свете ламп, почти безмолвно  
Мы были склонены над грудой зимних книг,  
Когда морским пугливым анемоном  
Багровый солнца диск нас в сентябре настиг.

Ты мне сказала: «Вот и осень!  
Ужель так долго спали мы?  
Как дальше жить средь полутьмы,  
Средь книг, чей вид нам стал несносен?»

Быть может, мимо нас весна  
Уже прошла, мелькнув на миг единый?  
Чтоб вовремя зари была нам речь слышна,  
На окнах распахни гардины!»

Шел дождь. У ламп, поблекших при багровой  
Заре, мы удлинити фитили  
И в ожиданье погрузились снова  
Весны, грядущей издали.

## II

Пустую лампу новая сменила,  
И эта ночь сменяется иной.  
И слышно, как от нас бежит во мрак ночной  
Часов песочных шум унылый.

Во власти ложного мы бьемся силлогизма,  
О Троице ведем бессвязный спор,  
Но мыслям и словам недостает лиризма,  
И лампы тусклые глядят на нас в упор.

На случай, если бы от одури неожиданной  
И боли головной наш спор затих,  
Нас ждут в углу два узкие дивана:  
Мы простираемся ребячески на них.

Молитву прочитав ночную,  
Мы поскорее тушим свет,  
И к нашим векам льнет вплотную  
Ночей могильных душный бред.

Но перед нашим диким взглядом  
Огромный образ все же не изжит,  
И страшно каждому уснуть, пока лежит  
И смотрит на него другой, не спящий рядом.

## VI

Я знаю, что душа включает  
В себя тот жест, чью звучность вслед  
За ним согласно обличает  
Вполне ей соприродный свет.

Пейзаж, пренебрегая мерой,  
По прихоти души растет,  
Ритмическою атмосферой  
Сливая с нею небосвод.

Но непонятно мне, зачем путем окольным  
Бессильная душа среди немилых мест  
По деревням блуждает своевольным,  
Где недоступен нам свободный жест.

Ну, что же, если вся борьба бесплодна  
И побеждает нас пейзаж,  
Хотел бы я такого рода  
Побед, чтоб дух воспрянул наш.

Я солнечных ищу полей,  
Где ты сказала б мне: «Любимый!»  
Но только месяц над равниной  
Сияет бледною лилеей.

## VIII

У нас у обоих печальные, бедные души,  
Которых и счастьем никак не согреть;  
У нас у обоих печальные души,  
Давно позабывшие всякую радость.

Вверху разгорается диск золотой,  
Желая согреть наши зябкие души;  
Но даже в его благодатном тепле  
Им холодно, точно студенной зимой.

Мы знаем, что надо бы нам улыбаться,  
Когда в небесах — только ярь, только синь,  
Но мы потеряли навеки привычку  
К цветенью души.

Нас прежде лучи согревали бы солнца,  
Мы прежде смеялись бы оба от счастья,  
Но нынче не знаем уже, почему  
Холмы так беспечно ликуют.

«Послушай, — сказала ты, — души у нас  
Глубокой исполнены тайной  
И счастливы необычайно,  
Но мы лишь не знаем о том».

## **Солнцестояние**

Чуть в звонком воздухе раздался голос рога,  
Мы поняли, что все должно застыть кругом.  
Он смолк, но звук еще плывет своей дорогой  
На медный небосклон.

Кустарник золотой приник вплотную к жнивью,  
Стогами желтыми означились поля,  
Сияло мертвое на горизонте солнце,  
И выросли высокие леса...

На буках, выбежавших на опушку леса,  
Вороны не хотели засыпать,  
И меж ветвей, простершихся завесой,  
Большие рыжие олени замерли.

Зачем же тишину нарушил рог звучаньем?  
Который час теперь, что солнце не зашло?  
Ужель кустов конца не будет колыханьям  
И время замолчать воронам не пришло?

Еще рыдания! Какая скука всюду!  
Не лучше ль дома бы нам посидеть с тобой?  
Смотри, как, подхватив осенних листьев груды,  
Их ветер закружил и гонит пред собой...

## Парк

Увидев пред собой закрытую калитку,  
Мы долго простояли, горько плача.  
Потом, сообразив, что это мало чем поможет,  
Мы снова медленно пустились в путь.

Мы вдоль ограды сада пробрели весь день;  
Оттуда долетали голоса и взрывы смеха.  
Мы думали, что там справляют праздник на лужайке,  
И эта мысль нас исполняла грустью.

Под вечер стены парка обагрив закат;  
Не знали мы, что происходит за стеной,  
Поверх которой ветви лишь виднелись, иногда  
Ронявшие при колыханьи листья.

## Календари

### *Март*

Я говорил душе: «Душа моя родная,  
Зачем меня будить? Приди, уснем».  
Душа ответила: «Взгляни, как зарева  
Зарделась полоса. Пора. Покинем дом».

Я спорил: «На дворе ведь холодно, и мало  
С тобой мы прочитали книг.  
Скажи, ужель ты не устала  
Бдеть надо мною каждый миг?»

Зима от целого нас укрывала света;  
Я думал, что я спал, но я был только нем.  
Я столько размышлял, что — бедная душа поэта! —  
О солнце позабыл совсем.  
Вернется ли оно опять к своей эклоге,  
И вместе с ним шумливая весна  
Смутит ли снова наши диалоги?»

«Оно окрасило всю занавесь багрянцем  
Сквозь стекла потные окна, —  
Ответила душа, — и наша лампа  
Сейчас погаснет. Книги прочтены.  
А если ты открыть не хочешь раму  
Всему, что рвется к нам упрямо,  
Открою я.

Зима прошла. Земля уныло  
Глядит, оголена.  
Проснись! Совсем иного пыла  
Твоя душа полна.

Дремотой в хлеве истомленный,  
Стремится скот на влажные поля,  
К морской волне неугомонной».

«О, бедная душа, — ответил я, — куда  
Меня зовешь? Увидеть вдоль дороги  
Безлиственные тополя?  
Иль небоскат и пасмурный и строгий?  
На бег ли посмотреть ручья,  
На берег ли взглянуть пологий,  
Бродячих чаек жалкий стан?  
На скисший виноград под кровлею  
дырявой?»

Иль за околицей на плачущих селян,  
Мечтающих о пажитях поемных  
И о посеве озимых хлебов?  
Немые пашни ширятся безмерно  
И ливней животворных ждут.  
В морскую даль уже ушел весь лед —  
В морскую даль, где кораблекрушений  
Обломки носятся по прихоти течений;  
Их на песке, в еще бурлящей пене,  
Минувшей собирали мы весной;  
На берегу в тот вечер сквозь одежду  
Мы сырость ощутили вдруг  
И в дом вернулись, чтобы пальцы рук  
Озябшие согреть близ камелька надеждой».

Душа сказала мне: «Ужель не знаешь ты:  
Все, что зима взяла, весна вернет нам вскоре?  
Над грустною равниной из-за моря  
Воспрянет солнце горячей.  
Март кончился, апрель теплом своих лучей  
Извечную любовь на челах возрождает...»

«Как знать, не лето ли, что вновь мне возвращает  
Морскую даль и небосвод,  
Для будущей зимы не лето ль сбережет  
Таинственнейший сон любви, вдвойне печальной?»

### *Сентябрь*

Я завтра, как пастух, в хвосте бредущий стада,  
На берег выведу желанья свои:  
Пусть выйдут на простор они морской струи,  
Врывающейся в мой сон всю ночь с такой надсадой.

Осталось ждать лишь час, чтоб занялся рассвет;  
Окаймлена зарей, уже белеет пена;  
Рыдания в ночи смолкают постепенно.  
Что ж, подождем еще: уж недалек рассвет.

Я вскоре окажусь на отмели угрюмой,  
Где столько соли, трав, обломков кораблей,  
Сегодня избранных тревогою моей  
Игралищами быть моей печальной думы.

Мои желанья, нас берег ждет безмолвный.  
Заря горит, горит! Вот вам рука моя.  
Я тоже побегу. Не эта ль колея  
Нас приведет туда, где замирают волны?

Волна отходит прочь, чтоб наконец могли  
Мы собирать в местах, которым сердце радо,  
И влажный урожай морского винограда,  
И все, что к нам валы с утесов нанесли.

Все, что похитил вал, что сброшено приливом,  
Что зыбилось в волнах, что ветром унесет,  
Все символом живым сознанию предстает,  
И даже водоросль, отливом прихотливым  
Оставленную здесь, желания мгновенно  
Преобразили мне в морскую диадему.

### *Ноябрь*

Нам не заснуть никак. Бушует буря  
За окнами, и ночь чудовищно темна,  
Орлы влетают в потайные входы  
И в ставни дикими крылами бьют.

Средь бури покружив, они стучатся в двери,  
Врываются в пустынный коридор,  
Где медленно текут часы ночные  
И наши сны. Нам не заснуть так скоро

Мы подождем, чтоб ночь окончилась, оплачем  
Сны, заблудившиеся на ветру,  
Во мраке башни, где трепещут крылья,  
И, как всегда, грозы преодолев насилье,

Дождливая заря блеснет нам сквозь стекло.

## Поль Валери

(1871—1945)

### Елена, царица печальная

Лазурь! Я вышла вновь из сумрачных пещер  
Внимать прибою волн о звонкие ступени  
И вижу на заре воскресшие из тени  
Златовесельные громадины галер.

Одна, зову царей. Томясь, стремятся к соли  
Курчавых их бород опять персты мои.  
Я плакала. Они безвестные бои  
Мне славили и песнь морской слагали воле.

Я слышу раковин раскаты, вижу блеск  
Медноголосых труб, и весел мерный плеск,  
И древний строй гребцов, в поспешности степенный,

И благодных богов! В лазурной вышине  
Они с носов галер сквозь поношенья пены  
С улыбкой руки вновь протягивают мне.

## Юная парка

*(Фрагменты)*

Пускай преследует его мой нежный запах,  
О смерть, вбери в себя прислужницу царя:  
Разочаруй меня, унылая заря,  
Я так устала жить, я — образ обреченный.  
Послушай! Торопись... Ведь год новорожденный  
Смятенья тайные предсказывает мне:  
Последний свой алмаз мороз сдает весне,  
И завтра под ее улыбкой вожделенной  
Внезапно вскроется родник запечатленный.  
Как знать, откуда ты, насильница-весна,  
Пришла? Но речь твоя струится так ясна,  
Что умиляется земля в глубоком чреве...  
Одевшись в чешую, набухшие деревья —  
Зачем им столько рук и овидей дано? —  
Вздымают к солнцу вновь громовое руно  
И в горьком воздухе уже растут крылами  
Бесчисленной листвы, в чьих жилах — снова пламя...  
Ты слышишь, как в лучах дрожат их имена,  
Глухая? Как в дали, где все — в оковах сна,  
Уже собрался в путь, ожившею вершиной  
Ощерясь на богов и к ним стремясь единой  
Душой, плавучий лес, чьи грубые стволы  
С благоговением возносят ввысь из мглы —  
Куда поплывете вы опять, архипелаги? —  
Укрывшийся в траве поток нежнейшей влаги.  
Какая смертная отвергнет этот плен?  
Какая смертная...

Ах, дрожь моих колен  
Предчувствует испуг коленей беззащитных...

Как этот воздух густ! От криков ненасытных  
Вон птица падает... Сердцебиенья час!  
А розы! Легкий вздох приподымает вас,  
Властитель кротких рук, сомкнутых над корзиной...  
Ах, в волосах моих мне тяжек вес пчелиный,  
Твой острый поцелуй, пронзающий меня,  
Вершина моего двусмысленного дня...  
О свет! Иль смерть! Одно из двух, но поспешите.  
Как бьется сердце! Как час от часу несытей  
Вздувается моя тугая грудь, как жжет  
Меня в плену моих лазоревых тенет...  
Пушай тверда... но как сладка устам несчетным!..

. . . . .

Я заклинать хочу лишь слабый отблеск твой,  
Слеза, уже давно готовая пролиться,  
Моя наперсница, ответная зарница,  
Слеза, чей трепет мне еще заволок  
Разнообразия печального дорог.  
Ты идешь из души, но колесей окольной,  
Ты каплю мне несешь той влаги подневольной,  
Тот чудодейственно-живительный отстой,  
Чьей жертвой падает моих видений рой,  
О тайных замыслов благое возлиянье!  
В пещере ужасов, на самом дне сознанья  
Наслаивает соль, немотствуя, вода,  
Откуда ты? Чей труд, уныл и нов всегда,  
Выводит, поздняя, тебя из горькой тени?  
Все материнские и женские ступени  
Мои осилишь ты, но медленный твой ход  
Несносен... От твоих чудовищных длиннот  
Мне душно... Я молчу и жду тебя заране...  
— Кто звал тебя прийти на помощь свежей ране?

## Погибшее вино

Когда я пролил в океан —  
Не жертва ли небытию? —  
Под небом позабытых стран  
Вина душистую струю,

Кто мной тогда руководил?  
Быть может, голос вещуна,  
Иль, думая о крови, лил  
Я драгоценный ток вина?

Но, розоватым вспыхнув дымом,  
Законам непоколебимым  
Своей прозрачности верна,

Уже трезвея в пьяной пене,  
На воздух подняла волна  
Непостижимый рой видений.

## Intérieur

То никнет в зеркала рабыней длинноглазой,  
То, воду для цветов держа, стоит над вазой,  
То, ложу расточив всю чистоту перстов,  
Приводит женщину сюда, под этот кров,  
И та в моих мечтах благопристойно бродит,  
Сквозь мой бесстрастный взгляд, бесплотная, проходит,  
Как сквозь светило дня прозрачное стекло,  
И разума щадит земное ремесло.

## **Дружеская роща**

Дорогою о чистых и прекрасных  
Предметах размышляли мы, пока  
Бок о бок двигались, в руке рука,  
Безмолвствуя... среди цветов неясных.

Мы шли, боясь нарушить тишину,  
Обручники, в ночи зеленой прерий  
И разделяли этот плод феерий,  
Безумцам дружественную луну.

Затем во власть отдавшись запустенью,  
Мы умерли, окутанные тенью  
Приветной рощи, ото всех вдали,

И в горнем свете, за последней гранью,  
Друг друга, плача, снова обрели,  
О милый мой товарищ по молчанью!

## **Морское кладбище**

Как этот тихий кров, где голубь плещет  
Крылом, среди сосен и гробниц трепещет!  
Юг праведный огни слагать готов  
В извечно возникающее море!  
О благодарность вслед за мыслью вскорее:  
Взор, созерцающий покой богов!

Как гложет молний чистый труд бесменно  
Алмазы еле уловимой пены!  
Какой покой как будто утвержден,

Когда нисходит солнце в глубь пучины,  
Где, чистые плоды первопричины,  
Сверкает время и познание — сон.

О стойкий клад, Минервы храм несложный,  
Массив покоя, явно осторожный,  
Зловещая вода, на дне глазниц  
Которой сны я вижу сквозь пыланье,  
Мое безмолвье! Ты в душе — как зданье,  
Но верх твой — золото тысяч черепиц!

Храм времени, тебя я замыкаю  
В единый вздох, всхожу и привыкаю  
Быть заключенным в окоем морской,  
И, как богам святое приношение,  
В мерцаньи искр верховное презренье  
Разлито над бездонною водой.

Как, тая, плод, когда его вкушают,  
Исчезновение в сладость превращает  
Во рту, где он теряет прежний вид,  
Вдыхаю пар моей плиты могильной,  
И небеса поют душе бессильной  
О берегах, где вновь прибой шумит.

О небо, я меняюсь беспрестанно!  
Я был так горд, я празден был так странно  
(Но в праздности был каждый миг велик),  
И вот отдался яркому виденью  
И, над могилами блуждая тенью,  
К волнению моря хрупкому привык.

Солнцестоянья факел встретив грудью  
Открытой, подчиняюсь правосудью

Чудесному безжалостных лучей!  
На первом месте стань, источник света:  
Я чистым возвратил тебя!.. Но это  
Меня ввергает в мрак глухих ночей.

Лишь моего, лишь для себя, в себе лишь —  
Близ сердца, близ стихов, что не разделишь  
Меж пустотой и чистым смыслом дня —  
Я эхо внутреннего жду величья  
В цистерне звонкой, полной безразличья,  
Чей полый звук всегда страшит меня!

Лжепенница зеленых этих мрежей,  
Залив, любитель худосочных режей,  
Узнаешь ли ты по моим глазам,  
Чья плоть влечет меня к кончине вялой  
И чье чело ее с землей связало?  
Лишь искра мысль уводит к мертвецам.

Священное, полно огнем невестным,  
Залитое сиянием многосвечным,  
Мне это место нравится: клочок  
Земли, дерев и камня единенье,  
Где столько мрамора дрожит над тенью  
И моря сон над мертвыми глубок.

Гони жреца, о солнечная сука!  
Когда пасу без окрика, без звука,  
Отшельником таинственных овец,  
От стада белого столь бестревожных  
Могил гони голубок осторожных  
И снам напрасным положи конец!

Грядущее здесь — воплощение лени.  
Здесь насекомое роится в тлене,  
Все сожжено, и в воздух все ушло,  
Все растворилось в сущности надмирной,  
И жизнь, пьяна отсутствием, обширна,  
И горечь сладостна, и на душе светло.

Спят мертвецы в земле, своим покровом  
Их греющей, теплом снабжая новым.  
Юг наверху, всегда недвижимый Юг  
Сам мыслится, себя собою меря...  
О Голова в блестящей фотосфере,  
Я тайный двигатель твоих потуг.

Лишь я твои питаю опасенья!  
Мои раскаянья, мои сомненья —  
Одни — порок алмаза твоего!..  
Но мрамором отягощенной ночью  
Народ теней тебе, как средоточью,  
Неспешное доставил торжество.

В отсутствии они исчезли плотном.  
О веществе их глина даст отчет нам.  
Дар жизни перешел от них к цветам.  
Где мертвецов обыденные речи?  
Где их искусство, личность их? Далече.  
В орбитах червь наследует слезам.

Крик девушек, визжащих от щекотки,  
Их веки влажные и взор их кроткий,  
И грудь, в игру вступившая с огнем,  
И поцелуям сдавшиеся губы,

Последний дар, последний натиск грубый —  
Все стало прах, все растворилось в нем!

А ты, душа, ты чаешь сновиденья,  
Свободного от ложного цветенья  
Всего того, что здесь пленяло нас?  
Ты запоешь ли, став легчайшим паром?  
Все бегло, все течет! Иссяк недаром  
Святого нетерпения запас.

Бессмертье с черно-золотым покровом,  
О утешитель наш в венке лавровом,  
На лоно матери зовущий всех!  
Обман высокий, хитрость благочестья!  
Кто не отверг вас, сопряженных вместе,  
Порожний череп и застывший смех?

О праотцы глубокие, под спудом  
Лежащие, к вам не доходит гудом  
Далекий шум с поверхности земной.  
Не ваш костяк червь избирает пищей,  
Не ваши черепа его жилище —  
Он жизнью жив, он вечный спутник мой!

Любовь иль ненависть к своей особе?  
Так близок зуб, меня грызущий в злобе,  
Что для него имен найду я тьму!  
Он видит, хочет, плоть мою тревожа  
Своим касанием, и вплоть до ложа  
Я вынужден принадлежать ему.

Зенон! Жестокий! О Зенон Элейский!  
Пронзил ли ты меня стрелой злодейской,

Звенящей, но лишенной мощных крыл?  
Рожденный звуком, я влачусь во прахе!  
Ах, Солнце... Черной тенью черепахи  
Ахилл недвижимый над душой застыл!

Нет! Нет! Воспрянь! В последующей эре!  
Разбей, о тело, склеп свой! Настежь двери!  
Пей, грудь моя, рождение ветерка!  
Мне душу возвращает свежесть моря...  
О мощь соленая, в твоём просторе  
Я возрожусь, как пар, как облака!

Да! Море, ты, что бредишь беспрестанно  
И в шкуре барсовой, в хламиде рваной  
Несчетных солнц, кумиров золотых,  
Как гидра, опьянев от плоти синей,  
Грызешь свой хвост, сверкающий в пучине  
Безмолвия, где грозный гул затих,

Поднялся ветер!.. Жизнь зовет упорно!  
Уже листает книгу вихрь задорный,  
На скалы вал взбегает веселей!  
Листы, летите в этот блеск лазурный!  
В атаку, волны! Захлестните бурно  
Спокойный кров — кормушку стакселей!

## Поль Клодель

(1868—1955)

\* \* \*

Ты победил меня, возлюбленный! Мой враг,  
Ты отнял у меня все способы защиты,  
И ныне, никаким оружием не прикрытый,  
О Друг, я предстаю тебе и сир и наг!

Ни юный пыл Страстей, ни Разум, ни Химера,  
На ослепленного похожая коня,  
Мне не были верны: все предало меня!  
И в самого себя во мне иссякла вера.

Напрасно я бежал: Закон сильнее меня.  
Впусти же Гостя, дверь. Раскройся пред единым,  
О сердце робкое, законным господином,  
Который бы во мне был больше мной, чем я.

О сжальтесь надо мной, все семь небес! Заране  
На зов архангельской трубы явился я.  
Всесильный, праведный, предвечный судия,  
Я жив и трепещу в твоей суровой длани!

## Мрачный май

Властительницы с взорами козулей  
Лесной тропой ехали верхом.

Собаки, дичь подкарауля,  
Во мраке лаяли глухом.

Их волосы цеплялись за сучки  
И листья приставали к мокрым щекам.  
Раздвинув ветви манием руки,  
Они вокруг взирали диким оком.

Властительницы темных роц, где птица  
Поет на буке, и в овраге  
Уж вечер, подымите лица,  
Порозовевшие от влаги!

Я слишком мал, чтоб вас к себе привлечь,  
Владычиц вечера! Голубок воркотня  
Вам ближе, чем людская речь:  
Вы не заметили меня.

Бегите! Лай уж слышен на дороге,  
И тяжело напозают тучи!  
Бегите! Пыль клубится на дороге,  
И листья мчатся темной тучей!

Ручей далеко. Стадо где-то блеет.  
Бегу, рыдая.  
С горами слившись, туча дождик сеет  
Над лесом шестичасовым — седая.

## Шарль Пегг

(1873—1914)

### **Блажен, кто пал в бою**

Блажен, кто пал в бою за плоть земли родную,  
Когда за правое он ополчился дело;  
Блажен, кто пал, как страж отцовского надела,  
Блажен, кто пал в бою, отвергнув смерть иную.

Блажен, кто пал в пыли великого сраженья  
И к богу — падая — был обращен лицом;  
Блажен, кто пал в бою и доблестным концом  
Стяжал себе почет высокий погребенья.

Блажен, кто пал в бою за города земные —  
Они ведь города господнего тела —  
Блажен, кто пал за честь родимого угла,  
За скромный ваш уют, о очаги родные.

Блажен, кто пал в бою: он возвратился в прах,  
Он снова глиной стал, землею перевозданной;  
Блажен, кто пал в бою, свершая подвиг бранный,  
И зрелым колосом серпа изведаль взмах.

Жюль Ромен

(под. в 1885 г.)

### Из книги «Европа»

На пятисотый день войны льет бесперывный ливень.

Как будто мало было нам и сумерек стеклянных,  
И ветра, стелющегося вплотную по земле,  
И перекрестка, полного каким-то странным пылом,  
Как чан, где ядовитые движения кипят,  
И вытянувшихся огней, что бродят в полумраке,  
Набрасывая в небе план всемирного злодейства;

Нет, были надобны еще и дождь, и грязь, и лужи!  
«Поборник истины, ты сожалеешь наше время!  
Его страдания тебе сжимают болью сердце!  
Не должен был бы ты, восстав, как древние пророки,  
Бессмертным возгласом приветствовать грядущий суд?»

О пешеход, споткнувшийся на темной мостовой,  
Как память коротка твоя и как бессильна жалость!  
Ужели ты совсем забыл о временах их счастья?  
И смех их перестал звучать в твоих ушах оглохших?  
И запах радости их унесли морские ветры?

Припомни ночь, когда, бредя по улицам уснувшим,  
Ты в гневе праведном бесчисленные беззаконья

Насильников последнего столетья клал на чашу  
Весов, проверенных в течение сорока веков?

Им вдоволь времени хватило множить всю их мерзость.  
Покуда ангел мщения дремал у грани мира,  
Они загадили пометом все вершины жизни  
И небеса забрызгали блевотиной своей.

Послушай, как теперь они из сил последних лгут:  
Паническую ложью наводняя все дома,  
Они клянутся в том, что жили лишь для Правды вечной,  
Для Мысли лишь святой и для Поэзии бессмертной.

Пуškai хоть помолчат, оставив идеал в покое!  
Когда они вершили торг и в банках и в конторах,  
Железным ломом спекулируя, зерном и кожей,  
Когда, пресытаясь золотом и чуя зуд в карманах,  
Они влекли свои жиры на кресла мюзик-холла  
Иль ужинали в комфортабельнейшем ресторане,  
Попробовал бы кто напомнить им об идеале.

Но может быть, им даруют прощенье мертвецы,  
Быть может, искупленье стало делом всенародным,  
На радость торгашам и в посрамление поэтам?  
Иль десять девственниц пришли торжественным посольством  
Облобызать следы плевков на праведном челе?

Не надо стонов, незачем ни головою никнуть,  
Ни устремлять глаза туда, где блещет влажный

ответ:

Прекрасней молния, чертящая свой приговор.  
Что значит для тебя, паломника в харчевне века,  
Землетрясение, крушение самых крепких стен,  
Пеньки фундаментов, торчащие из десен почвы?

Впивай в себя, как музыку, весь треск и грохот ломки,  
Испытывай в своих костях все прелести удара,  
Свергающего время, осужденное тобой!  
Безумным хаосом пьяней, вдыхая запах серы,  
Что вырывается из зыбких складок катаклизма!  
Взгляни: абсурд и мрак тебе покорствуют, как псы,  
Веленья гнева твоего исполнят их клыки.  
Ты движешь бурей, мир срывающий с его устоев.  
Возрадуйся же! Облекись в блуждающее пламя  
И выкрой себе дорожный плащ в огне небесном!»

Шарль Вильдрак

(род. в 1882 г.)

### Песнь пехотинца

Я хотел бы на дороге  
Старым быть каменотесом;  
Он сидит на солнцепеке  
И булыжники дробит,  
Широко расставив ноги.

Кроме этого труда,  
Нет с него иного спроса.  
В полдень, удаляясь в тень,  
Он съедает корку хлеба.

\* \* \*

Знаю я глубокий лог,  
Где укрылась в дикой чаще  
Старая каменоломня,  
Позабытая людьми.

Там и солнца луч не светит,  
Не накрапывает дождик,  
Там залетная лишь птица  
Вопрошает тишину.

Это — древняя морщина  
На лице земли суровом,  
Небом проклятая щель.

Съездившись под ежевикой,  
Я хотел бы там лежать!

\* \* \*

Я хотел бы быть слепцом,  
Что стоит у входа в церковь:

Звучной ночью окружен,  
Он поет, в себе лелея  
Время, плещущее в нем,  
Как под сводом чистый воздух,

Потому что он на берег  
Выброшен рекой угрюмой,  
И его уж не увлечь  
Мутной ненависти волнам.

\* \* \*

Я хотел бы быть солдатом,  
Наповал убитым первой  
Пулей в первый день войны.

## Гийом Аполлинер

(1880—1918)

### Сумерки

В саду где привиденья ждут  
Чтоб день угас изнемогая  
Раздевшись догола нагая  
Глядится Арлекина в пруд

Молочно-белые светила  
Мерцают в небе сквозь туман  
И сумеречный шарлатан  
Здесь вертит всем как заправила

Подмостков бледный властелин  
Явившимся из Гарца феям  
Волшебникам и чародеям  
Поклон отвесил арлекин

И между тем как ловкий малый  
Играет сорванной звездой  
Повешенный под хриплый вой  
Ногами мерно бьет в цимбалы

Слепой баюкает дитя  
Проходит лань тропой росистой  
И наблюдает карл грустя  
Рост арлекина трисмегиста

## Отшельник

Проклятие скорбям и мученичеству  
Вскричал близ черепа отшельник босоногий  
Логомахических соблазнов и тревоги  
Внушаемой луной я не переживу

Все звезды от моих молитв бегут О дыры  
Ноздрей Орбиты глаз Истлевшие черты  
Я голоден Давно кричу до хрипоты  
И вот для моего поста головка сыра

О господи бичуй поднявшие подол  
Над задом розовым бессовестные тучи  
Уж вечер и цветы объемлет сон дремучий  
И мыши в сумраке грызут волхвуя пол

Нам смертным столько игр дано любовь и мурра  
Любовь игра в гусек я к ней всегда готов  
А мурра беглый счет мелькающих перстов  
Соделай господи меня рабом Амура

Я Незнакомки жду чьи тонкие персты  
На ноготках хранят отметки лжи и лени  
Им нет числа но я томюсь от вожделений  
Жду рук протянутых ко мне из темноты

Чем провинился я что ты единорогом  
Обрек меня прожить земную жизнь господь  
А между тем моя совсем безгрешна плоть  
И я напрасно дань несу любви тревогам

Господь накинь накинь чтоб язв ослабить зной  
На обнаженного Христа хитон нешвенный  
В колодце звон часов потонет и бессменный  
Туда же канет звон капли дождевой

Я в Гефсимании хотел увидеть страстно  
Под олеандрами твой алый пот Христос  
Я тридцать суток бдел увы гематидроз  
Должно быть выдумка я ждал его напрасно

Сердцебиению я с трепетом внимал  
Струясь в артериях бежала кровь звончее  
Они кораллы иль вернее казначеи  
И скупости запас в аорте был не мал

Упала капля Пот Как светел каждый атом  
Мне стала грешников смешна в аду возня  
Потом я раскусил из носа у меня  
Шла кровь. А все цветы с их сильным ароматом

Над старым ангелом который не сошел  
Лениво протянуть мне чашу поглумиться  
Я захотел и вот снимаю власяницу  
Куда ткачи вплели щетины жесткий шелк

Смесь над странною утробю папессы  
Над грудью без соска у праведниц иду  
Быть может умереть за девственность в саду  
Обетов слов и рук срывая с тайн завесы

Я ветрам вопреки невозмутимо тих  
Встаю как лунный луч над зыбью моря страстной  
Непразднуемых я молил святых напрасно  
Никто не освятил опресноков моих

И я иду Бегу о ночь Лилит уйду ли  
От воя твоего Я вижу глаз разрез  
Трагический О ночь я вижу свод небес  
Звездообразные усеяли пилюли

На звездной ниточке отбрасывая тень  
Качается скелет невинной королевы  
Полночные леса свои раскрыли зевы  
Надежды все умрут когда угаснет день

И я иду бегу о день зря рыжуха  
Закрыла пристальный как лалы алый взор  
Сова овечий взгляд направленный в упор  
И свињи чей сосок похож на мочку уха

Вороны тильдами простертые скользят  
Едва роняя тень над рожью золотистой  
Вблизи местечек где все хижины нечисты  
И совы мертвые распространяют смрад

Мои скитания Печалей нет печальней  
И пальцев остовы ошерившие ель  
С дороги сбился я запутав снова кудель  
И ельник часто мне служил опочивальней

Но томным вечером я наконец вступил  
Во град представший мне при звоне колокольном  
И жало похоти вдруг сделалось безбольным  
И я входя толпу зевак благословил

Над трюфлевидными я хохотал дворцами  
О город синими прогалинами весь  
Изрытый Все мои желанья тают здесь  
Скуфьей прогнав мигрень я завладел сердцами

Да все они пришли покаяться в грехах  
И Диамантою Луизой Зелотидой  
Я в ризу святости с простой простясь хламидой  
Отныне облачен Ты знаешь все монах

Воскликнули они Отшельник нелюдимый  
Возлюбленный прости нам тяжкие грехи  
Читай в сердцах покрой любимые грехи  
И поцелуев мед несказанно сладимый

И отпускаю я пурпурные как кровь  
Грехи волшебницы блудницы поэтессы  
И духа моего не искушают бесы  
Когда любовников объятья вижу вновь

Мне ничего уже не надо только взоры  
Усталых глаз закрыть забыть дрожащий сад  
Где красные кусты смородины хрипят  
И дышат лютостью святою пасифлоры

### **Переселенец с Лендор-роуда**

В витрине увидав последней моды крик  
Вошел он с улицы к портному Поставщик  
Двора лишь только что в порыве вдохновенном  
Отрезал головы нарядным манекенам

Толпа людских теней смесь равнодушных лиц  
Влачилась по земле любовью не согрета  
Лишь руки к небесам к озерам горним света  
Взмывали иногда как стая белых птиц

В Америку меня увозит завтра стимер  
Я никогда  
    не возвращусь  
Нажившись в прериях лирических чтоб мимо  
Любимых мест тащить слепую тень как груз

Пусть возвращаются из Индии солдаты  
На бирже распродав золотых плевков слюну  
Одетый щеголем я наконец усну  
Под деревом где спят в ветвях арагуаты

Примерив тщательно сюртук жилет штаны  
(Невытребованный за смертью неким пэрмом  
Заказ) он приобрел костюм за полцены  
И облачась в него стал впрямь миллионером

А на улице годы  
Проходили степенно  
Глядя на манекены  
Жертвы ветреной моды

Дни втиснутые в год тянулись вереницей  
Кровавых пятниц и унылых похорон  
Дождливые когда избитый дьяволицей  
Любовник слезы льет на серый небосклон

Прибыв в осенний порт с листвою неверно — тусклой  
Когда листвою рук там вечер шелестел  
Он вынес чемодан на палубу и грустно  
    Присел

Дул океанский ветер и в каждом резком звуке  
Угрозы слал ему играя в волосах

Переселенцы вдаль протягивали руки  
И новой родины склонясь лобзали прах

Он всматривался в порт уже совсем безмолвный  
И в горизонт где стыл над пароходом дым  
Чуть видимый букет одолевая волны  
Покрыл весь океан цветением своим

Ему хотелось бы в ином дельфиньем мире  
Как славу разыграть разросшийся букет  
    Но память ткала ткань и вскоре  
    Прожитой жизни горький след  
    Он в каждом узнавал узоре

    Желая утопить как вшей  
Ткачих пытающих нас и на смертном ложе  
    Он обручил себя как дожи  
При выкриках сирен взыскующих мужей

Вздувайся же в ночи о море где акулы  
До утренней зари завистливо глядят  
На трупы дней что жрет вся свора звезд под гулы  
Сшибающихся волн и всплеск последних клятв

## **Музыкант из Сен-Мерри**

Я в праве наконец приветствовать людей мне неизвестных  
Они мимоидя скопляются вдали  
Меж тем как все что там я вижу незнакомо  
И не слабее их надежда чем моя

Я не пою наш мир ни прочие светила  
Пою возможности свои за рубежом его и всех светил  
Пою веселье быть бродягой вплоть до смерти подзаборной

О двадцать первое число О май тринадцатого года  
Харон и вы кликуши Сен-Мерри  
Мильоны мух почуяли роскошную поживу  
Когда слепец безносый и безухий  
Покинув Себасто свернул на улицу Обри-Буше  
Он молод был и смугл румяный человек  
Да человек о Ариана  
На флейте он играл соразмеря с музыкой шага  
Затем остановился на углу играя  
Ту арию что сочинил я и пою  
Вокруг него толпа собралась женщин  
Они стекались отовсюду  
Вдруг Сен-Меррийские колокола затеяли трезвон  
И музыкант умолк и подошел напиться  
К фонтану бьющему на улице Симон-Лефран  
Когда же вновь настала тишина  
Опять за флейту взялся незнакомец  
И возвратясь дошел до улицы Верри  
Сопровождаемый толпою женщин  
Сбегавшихся к нему из всех домов  
Стекавшихся к нему из поперечных улиц  
Безумноглазые с простертыми руками  
А он играя двигался бесстрастно  
Он уходил чудовищно спокойно  
Куда-то вдаль  
Когда отправится в Париж ближайший поезд

Меж тем помет  
Молукских голубей грязнит мускатные орехи

И в то же время в Боме  
О католическая миссия ты скульптора разишь

А где-то далеко  
Пройдя по мосту Бонн соединивший с Бейлем входит  
в Пютцхен  
Деввица обожающая мэра

Пока в другом квартале  
Соперничаешь ты поэт с рекламой парфюмера

В итоге много ли насмешники вы взяли от людей  
Не слишком разжирели вы на нищете их  
Но мы тоскующие в горестной разлуке  
Протянем руки-рельсы и по ним товарный вьется поезд

Ты плакала плечо к плечу со мной в наемном экипаже  
А теперь  
Ты так похожа так похожа на меня к несчастью  
Мы были так похожи как в архитектуре нынешнего века  
Башнеподобные похожи друг на друга трубы

Мы ввысь теперь идем земли уж не касаясь  
А между тем как мир и жил и изменялся  
Кортеж из женщин длинный как бесхлебный день  
За музыкантом двигался по улице Берри

Кортежи о кортежи  
И в день когда король переезжал в Венсенн  
И в день когда в Париж посольства прибывали  
И в день когда худой Сюже стремился к Сене  
И в день когда мятеж угас вокруг Сен-Мерри

Кортежи о кортежи  
Стеклось так много женщин что они  
В соседних улицах уже толпились  
Прямолинейно двигаясь как пуля  
Они спешили вслед за музыкантом  
Ах Ариана и Пакета и Амина  
Ты Миа ты Симона ты Мавиза  
И ты Колет и ты красотка Женевьева  
Они прошли за ним дрожа и суетясь  
Их легкие шаги покорны были ритму  
Пастушеской свирели завладевшей  
Их жадным слухом  
На миг остановившись перед домом  
Без стекол в окнах нежилой  
Назначенной к продаже  
Постройкою шестнадцатого века  
Где во дворе стоят рядком таксомоторы  
Вошел в калитку музыкант  
И музыка вдали теперь звучала томно  
Все женщины за ним проникли в дом пустой  
В калитку ринулись толпой тесня друг друга  
Все все туда вошли назад не обернувшись  
Не пожалев о том что покидали  
С чем распрощались навсегда  
О жизни памяти и солнце не жалея  
Спустя минуту улица Берри была безлюдна  
С священником из Сен-Мерри остались мы вдвоем  
И в старый дом вошли

Но ни души мы там не увидали

Смеркается  
Звонят к вечерне в Сен-Мерри

Кортежи о кортежи  
Как в день когда король вернулся из Венсенна  
Пришла толпа картузников-рабочих  
Пришли с лотками продавцы бананов  
Пришли республиканские гвардейцы  
О ночь  
О паства томных женских взоров  
О ночь  
Я все еще грущу и жду без цели  
Я слышу вдалеке смолкает звук свирели

## Через Европу

Ротсож  
Твое лицо румяно гидропланом стать может твой биплан  
И кругл твой дом где плавает копченая селедка  
Мне к векам нужен ключ  
Но к счастью видели мы господина Панадо  
И в этом смысле можем быть спокойны  
Что видишь ты мой старый сотоварищ  
512 или 90 пилота ль в воздухе теленка ль что глядит  
сквозь брюхо матери  
Я долго в поисках скитался по дорогам  
О сколько глаз смежилось на дорогах  
От ветра плачут ивняки  
Открой открой открой открой открой  
Взгляни же о взгляни  
Старик в тазу неспешно моет ноги  
Una volta ho inteso dire che vuoi \*  
Я прослезился вспомнив ваши детства

---

\* Однажды я решил сказать то, что хочу (*итал.*).



Эй берегись когда кидают якорь  
Отлично было бы чтоб с неба вы сошли  
Как жимолость свисает с неба

Земные полошатся спруты  
Какое множество средь нас самих себя хоронит  
О спруты бледные волн меловых о спруты с бледным ртом  
Вкруг дома плещет океан тебе знакомый  
Не забываясь даже сном

### **Лунный свет**

Безумноустая медоточит луна  
Чревоугодию всю ночь посвящена  
Светила с ролью пчел справляются умело  
Предместья и сады пьяны сытою белой  
Ведь каждый лунный луч спадающий с высот  
Преображается внизу в медовый сот  
Ночной истории я жду развязки хмуро  
Я жала твоего страшусь пчела Арктура  
Пчела что в горсть мою обманный луч кладет  
У розы ветров взяв ее серебристый мед

**Макс Жакоб**

*(1876—1944)*

### **Серенада**

Сутол, без ягодиц, но с бороною  
Чуть не до гетр, таков поклонник твой,  
И все ж, прелестница в перчатках синих, вою  
Я под окном твоим с девичьей резедой.  
Часы стенные бьют и, сонно  
Вращая вал, выводят короля:  
На нем пятиконечная корона,  
Она — твой герб, но им пресыщен я.  
Коралла синего иль аметиста тени  
Ресницы папоротника  
Отмежевали на века  
Свет от неверного стекла.  
Окно: сигара на краю вселенной.

Долой безмолвие, ковчег ее красот:  
Бессменная свеча измен мне лжет!  
И все-таки надежда шепчет, что  
Я не мечтатель юный,  
Не житель Пампелуны  
И перед сердцем ставлю знак бекара.  
Он — ватерлиния и звезд и тротуара.  
А дома тувельки

Тебе мозолей не натрут,  
И дверь, ведущая во внутрь  
Вселенной — непристойность.  
Я, точно конь, стою понуро,  
Дрожа от головы до ног  
Лишь потому,  
Что на наезднице медвежья шкура.

## Андре Сальмон

(1881—1969)

### Светляки

Не глядя, как плетется кляча,  
Крестьянин дремлет на возу.  
Старуха, с дочкою судача,  
Ведет на ярмарку козу.

Чем заняты все эти люди?  
Ах, чем угодно, лишь не мной.  
Но я, покорствуя причуде,  
Слежу за жизнью мне чужой.

Увы, один под сводом неба,  
Утратившего счет годин,  
Один, в скирду зарывшись хлеба,  
И там, меж деревень, один.

И жизнь была б лишь дар презренный  
Без этой пляски светляков —  
Балета будущих веков  
Во славу гибнущей вселенной!

### Танцовщицы

Герольд, любовник, брат, он жизни мне дороже:  
Сегодня вечером, отмститель всех обид,  
Он императора убить обязан в ложе,  
Когда прелестный принц с инфантой убежит.

Я для него хочу сегодня быть прекрасной  
И танцевать. Суфлер в наш входит заговор,  
Чтоб с материнскою зарею громогласно  
Поздравил хор народ, безмолвный с давних пор.

От перьев, сброшенных изгнанниками рая,  
Воспламеняются костры, пожар взметая  
До туч, где от любви мычит апрельский бык.

Сестра, мы проведем всю ночь среди владык  
Минуты, с кучером, с сенатором, с алькадом,  
Прислушиваясь, как возводят дыбу рядом.

Поль-Жан Тулэ

(1867—1920)

### Песенка

Помнишь, после бездорожья  
Краткий отдых в кабачке?  
В белом ты была пике —  
Хороша, как мать божья.

Нам бродяга из Наварры  
На гитаре поиграл:  
Был мне люб и звон гитары  
И студень мой бокал.

О забытом богом в ландах  
Я мечтаю кабачке:  
О трактирщице в платке,  
О глицинии в гиляндах.

\* \* \*

Как эти яблоки  
В их блеске золотом  
На берегах реки,  
Где высился Содом,

Иль словно те плоды,  
Которые Тантал  
Среди гнилой воды  
Отплевываясь, жрал, —

Так сердце, что дано  
Тебе держать в руках:  
Раскрой его — оно  
Внутри лишь тлен и прах.

Жан Жироду

(1882—1944)

\* \* \*

Эклисе, Эклисе,  
За кормой плещет пена,  
Мы вели себя все,  
Как велела Елена.

Прелестное веретено  
И ножницы — девичья доля.  
Эх, Эклисе, прекрасно поле,  
Хоть сжато без серпов оно!

\* \* \*

Я вижу Бельфора  
Пруды, силуэт  
Печальный собора,  
Которого нет;

И осень — о, рок,  
Чья поступь все губит! —  
Трубящую в рог,  
Который не трубит;

И тетку Селест,  
Что, рдея от злости,

Убила бы гостя,  
Который не ест —

Всю юность мою  
В тупом захолустьи.  
И желчи и грусти  
Я слез не таю.

### **Пробуждение весны в северных странах**

Зима ушла. Весне — почет.  
Уж солнце больше не печет:  
В нем зноя нет.  
Его лучи ласкают втуне  
Вербену, венчики петуний  
И горчицвет.

Зарылся солнца диск в сугробах:  
Над ним навис, как тяжкий обух,  
Весны приход.  
Охотник тонет в почве млечной,  
Зато рыбак скользит беспечно  
По лону вод.

Распутнице и деве скромной  
Теперь уж не до неги томной —  
О царство сна!  
Сатир — бесстрастия победа! —  
Не похищает дочь соседа:  
Весна! Весна!

Леон-Поль Фарг

(1876—1947)

### Гальки

Цветок трехфазный, мгла общественных уборных,  
Змееподобная семья Аспазий вздорных,  
На деревце греха срывающая плод,  
Ошибки, женщины — какой ужасный счет!  
Довольно! Пусть любовь махровой станет розой,  
Размером с пальму. Пусть не ноет впредь занозой.  
Коснись меня, но знай: я мертв душой давно.  
Целуй меня...

О, как во рту твоём темно!

## Жюль Сюпервьель

(1884—1960)

### Олень

Только трону я коробку  
Из сосны высокоствольной,  
Как застынет в чаще леса,  
Глядя на меня, олень.

Отвернись, олень прелестный,  
Продолжай свой путь безвестный:  
В темной жизни человека  
Не поймешь ты ничего.

Друг мой нежный, друг мой робкий,  
Чем могу тебе помочь,  
Через щель моей коробки  
Устремляя взоры в ночь?

Просекой твои зеницы  
В глубь вселенной залегли.  
Тонкие твои копытца —  
Целомудрие земли.

В день, когда морозы злые  
Небо льдом скуют, как пруд,  
Все олени побегут  
Из одних миров в другие.

Франсис Карко

(1886—1958)

**Кисло-сладкая песенка**

Ах, я люблю тебя! А ты,  
Ужель ты не в моих поэмах?  
Зима приводит сонм упрямых  
Скорбей, чернее черноты.

Акации дрожат сторожо,  
Лишь ветром тронет их слегка.  
Ты грелась, сидя без сорочки,  
Вся голая, у камелька.

Холодный ливень бился в стекла;  
Дрова шипели, чуть горя...  
Я жду, чтоб мутная заря  
Опять в моем окне возникла!

## Тристан Дерем

(1889—1941)

\* \* \*

Мы ждали героинь, уснувших  
В тени крушин зазеленевших,

Иль сладко дремлющих на ложах  
Из лилий и из веток рыжих,

И мы воспели б напоследок  
Их губы, пыл их лихорадок,

Чтоб, с нашей юностью покончив,  
Сказать потомству, как изменчив

Весь облик, как коварны речи  
И плачи этих Беатриче.



Жан Кокто  
(1889—1963)

**Пернатые в снегу**

Пернатые в снегу меняют признак пола.  
Родителей легко ввели в обман халат  
Да страсть, что делает Элизу невеселой:  
Мне ребус бабочек яснее всех шарад.

Я прыгну на тебя, личина, и узнаю  
В тебе то пугало, что флейтой я пленял;  
Солдатик мой, в твоих романах я читаю  
Про вишенник в цвету, про майский карнавал.

Пастель и пастораль — не твой ли шлак,  
Людовик  
Шестнадцатый? — но мак надгробье нам слагал;  
Воспоминания на углях цвета крови  
Кропают траурный и нежный мадригал.

Как сани русские — открытые для волчицы,  
Быть может, твой, Нарцисс, бесчеловечный пыл —  
Не преступление? И кто же поручится,  
Что сгинул след волны, где руку ты омыл?

## **Спина ангела**

Ложной улицы во сне ли  
Мнимый вижу я разрез,  
Иль волхвует на панели  
Ангел, явленный с небес?

Сон? Не сон? Не труден выбор;  
Глянув сверху наугад,  
Я обман вскрываю, ибо  
Ангел должен быть горбат.

Такова по крайней мере  
Тень его на фоне двери.

## Поль Элюар

(1895—1952)

\* \* \*

Твой златогубый рот мне дан не ради смеха,  
И лучезарных снов твоих так дивен смысл,  
Что в годовых ночах, в ночах смертельно юных,  
В малейшем шорохе звучит мне голос твой.

В деннице шелковой, где прозябает холод  
И сладострастие опасно бредит сном,  
В руках у солнца все тела, едва очнувшись,  
Боятся обрести опять свои сердца.

Воспоминания зеленых рощ, туманы,  
Куда вступаю я... Закрыв глаза, тебя  
Всей жизнью слушаю, но не могу разрушить  
Досуги страшные, плоды твоей любви.

### **Равенство полов**

Твои глаза пришли назад из своенравной  
Страны, где не узнал никто, что значит взгляд,  
Где красоты камней никто не ценит явной,  
Ни тайной наготы тех перлов, что блестят,

Как капельки воды, о статуя живая.  
Слепящий солнца диск — не зеркало ль твое?  
И если к вечеру он никнет в забытье,  
То это потому, что, веки закрывая,

Любовным хитrostям ты веришь дикаря,  
Плотине моего недвижимого желанья,  
И я беру тебя без боя, изваянье,  
Непрочностью тенет прельстившееся зря.

## ПРИЛОЖЕНИЕ



## **В ЦИТАДЕЛИ РЕВОЛЮЦИОННОГО СЛОВА\***

...Мы заинтересовываемся новым явлением искусства в лучшем случае к тому времени, когда оно начинает агонизировать, обычно же этот интерес возникает к явлению, уже завершеному, к течению, уже умершему: мы привыкли и любим получать произведения искусства из рук историка, а не художника, и нужны поистине сверхъестественные усилия, чтобы нарушить нелепую привычку приходить «на все готовое» и считать это судом истории. Чтобы добиться общественного признания, необходимо прежде всего обратить на себя общественное внимание, запаздывающее на добрую четверть века, и в этом отношении такой скверно пахнущий цветок, как «эпатирование» публики, имеет, несомненно, здоровый социальный корень.

.....

В наиболее сложном положении оказывается современная поэзия. Даже отгородившись от навязываемых ей служебных задач (...), она постоянно находится под угрозой вторжения в ее пределы элементов чуждых и враждебных: область языка поэтического в значительной своей части совпадает с областью языка практического, т. е. с разговорной нашей речью; слово — материал поэзии — есть вместе с тем и средство общения нашего друг с другом. Отсюда — опасность смешения, а часто и отождествления обоих языков, поэтического и практического, различест-

---

\* Опубликовано в журнале «Пути творчества», Харьков, 1919, № 5. Здесь приводятся фрагменты статьи.

вующих не только по целям своим, но в соответствии с этим и по форме.

Общераспространенный взгляд на Уитмена как на родоначальника ряда новых поэтических школ грешит чудовищным непониманием его эзотерического творчества: обладая космическим сознанием, Уитмэн, подобно всем носителям этой высшей формы сознания, сам свидетельствует о невозможности выразить языком понятий строй души, интеллектом непостижимый:

«Слова моей книги — ничто, порыв ее — все».

Ясно, что с перенесением центра произведения за пределы его словесного плана утрачивается всякий смысл учета формальных достижений в области последнего: кто станет рассматривать со стороны внешних приемов писания апостола Павла и «Аврору» Якова Бэме, хотя бы из особенностей их стиля и могли возникнуть литературные школы, подобно тому как органический порок зрения Сезанна создал особую школу живописи.

Возвращенное этим сознанием к своим первоистокам, оно [слово] развивается по собственным законам, отличным от законов словообразования и словосочетания разговорной речи, направляемой исключительно потребностью нашею во взаимном общении. Этим вовсе не сказано, что оно, слово-самоцель, противопоставляясь слову — средству общения, утверждает некое творчество в безвоздушном пространстве, обрекая поэта на вселенское одиночество. Напротив, поскольку язык практический, будучи языком лишь понятий, никогда до конца не удовлетворял нашей потребности в общении («мысль изреченная есть ложь»), постольку язык поэтический, этой целью не задающийся, легче всего ее достигает. Слово, освобожденное от тяжести смыслового содержания, тем самым еще не становится чистым звуком: между словом-понятием и словом-звуком лежит полная гамма эмоциональных значений. Именно поэтому словотворчество не

есть ни составление нового словаря, ни попытка перешагнуть из пределов слова в область музыки, но один из наиболее высоких путей подлинной поэзии, ищущей выражения невыразимого.

. . . . .  
В противоположность Петникову, у которого слово — растение, «поросль», «побег», слово О. Мандельштама замкнуто в самом себе, лишено способности органического роста, — обломок мертвой природы, подлинный «камень». Не словотворчество, но словоиспытание, непрекращающийся искус слова — вот что представляет собой поэзия Мандельштама.

«Что» — голова отяжелела.  
«Цо» — это я тебя зову!..

Что это, как не голова, немного склоненная набок, как бы прислушивающаяся к камертону, которым должно проверять каждый звук. Не новых слов ищет поэт, но новых сторон в слове, данном как некая завершенная реальность, — какой-то новой, доселе не замеченной нами грани, какого-то ребра, которым слово еще не было к нам обращено. Вот почему не только «старыми» словами орудует поэт: в стихах Мандельштама мы встречаем целые строки из других поэтов; и это не досадная случайность, не бессознательное заимствование, но своеобразный прием поэта, положившего себе целью заставить чужие стихи зазвучать по-иному, по-своему.

. . . . .  
Всю совокупность словесных единиц поэтического языка я представляю себе непрерывной массой, одним органическим целым, в котором различаю части неодинакового, так сказать удельного, веса — состояний разной степени разреженности. Эти различия обуславливаются большей или меньшей связанностью звуковой стороны слова с его смысловым и эмоциональным содержанием, располагаясь по шкале, основание которой совпадает

с нашим практическим, разговорным словооборотом, а вершина упирается в область чистого звука. В соответствии с этим мне представляется высшим образцом построения тот, при котором слова сочетаются по законам внутреннего сродства, свободно кристаллизуясь по собственным осям, и не ищут согласования с порядком явлений мира внешнего или моего лирического «я». Отсюда в конечном, пока только мыслимом итоге — упразднение синтаксиса как системы словосочетания, имеющей право гражданства только в языке понятий, и — как достижение попутное — изменение синтаксиса в целях вытеснения повествовательности образительностью. Образцы нового синтаксиса стихотворной и нестихотворной речи даны в моей второй книге — «Волчье солнце», книге скорее общих заданий, чем частных достижений. В «Болотной медузе» я поставил себе целью разрешение некоторых конструктивных задач, возникающих из изложенного понимания слова — в частности деформации его смысловой и эмоциональной сторон — задач, доселе не привлекавших внимания русского поэта.

## **О БЕНЕДИКТЕ ЛИВЩИЦЕ**

Когда я вспоминаю о Бенедикте Лившице, передо мною отчетливо встает облик высокого красивого молодого человека с открытым, мужественным лицом и приятным баритональным голосом. И вижу я его в маленькой студенческой комнате на Тарасовской улице, в четвертом этаже. Из окна открывался вид на еще не застроенный Печерск. Я познакомился с Бенедиктом Лившицем, студентом юридического факультета, вскоре после его приезда в Киев из Одессы, где он был исключен из университета за участие в студенческих демонстрациях.

Юриспруденция его не очень привлекала. Два-три растрепанных учебника по римскому и гражданскому праву выглядели странным диссонансом на столе, заваленном томиками новой французской поэзии. Три сборника антологии Вальша, где была собрана длинная вереница поэтов XIX и начала XX столетий, всегда сопутствовали молодому поэту, отличавшемуся широким знанием мировой лирики. По самой природе своей поэт романского духа, он особенно любил строгий и чеканный стих античных поэтов, французских парнасцев и итальянской классики. В своих ранних стихах, печатавшихся в «Аполлоне» и других журналах, Б. Лившиц следовал эстетике французских парнасцев. Чувствовалось его тяготение к античности, древней мифологии и образам, свойственным классикам XIX века — французским и русским.

Его первая книга, «Флейта Марсия» (1911), вышла года за два до нашего знакомства тиражом в 150 нумерованных экзем-

пляров. К сожалению, у меня не сохранился подаренный поэтом сборник, и лишь недавно знакомый киевлянин отдал мне «Флейту Марсия» с авторской надписью Павлу Петровичу Филипповичу, нашему общему другу. Само название — «Флейта Марсия» — должно было говорить посвященному читателю о желании поэта рассеять аполлоническую гармонию мнимого покоя резкими диссонансами флейты фригийца Марсия. Как известно из древнегреческого мифа, разгневанный Аполлон Кифаред велел содрать кожу с Марсия, дерзнувшего состязаться с ним, творцом сладкозвучной струнной музыки.

Немногочисленные стихотворения «Флейты Марсия» отмечены изысканностью вкуса. Сквозь холодность формы прорывался скрытый темперамент поэта, искавшего правду в разногласии жизни.

Страшная участь Марсия казалась ему не поражением, а высшей победой.

*Да будет так. В залитых солнцем странах  
Ты победил фригийца, Кифаред.  
Но злейшая из всех твоих побед —  
Неверная. О Марсиевых ранах*

*Нельзя забыть. Его кровавый след  
Прошел века. Встают, встают в туманах  
Его сыны...*

Эти строки знала и читала тогда киевская молодежь и придавала им расширительный и современный смысл.

Бенедикт Лившиц любил не только поэзию, но и все искусства, особенно живопись и музыку. Один киевский сноб картинно сказал, что вокруг поэта всегда пляшет хоровод девяти муз. Лившиц был пытлив, и не успевало возникнуть в ту шумную и многорекламную пору какое-нибудь новое течение в литературе или изобразительном искусстве, как он уже увлеченно старался

постигнуть его суть, принять или отвергнуть. Левое искусство в живописи представляла в Киеве художница А. А. Экстер. Талантливая искательница, скромная и сдержанная, она не любила шумихи и того «успеха скандала», который сопровождал выступления первых русских футуристов. Тем не менее многие годы она была связана с ними. Ее дружба с Давидом Бурлюком сказалась и на судьбе Бенедикта Лившица: именно она познакомила молодого поэта со всей группой футуристов-речетворцев. Б. Лившиц выступал в футуристических сборниках «Пощечина общественному вкусу», «Садок судей» и других. Ближе всего ему был Велимир Хлебников с его напряженными исканиями в области русского языка. Ни участие в футуристических сборниках, ни выступления на публичных диспутах не сделали Б. Лившица будетлянином, как называли себя русские футуристы. Его связь с этим течением была довольно внешней и поверхностной, потому и оборвалась в пору его зрелости. Теперь почти забытая мемуарная книга поэта «Полутораглазый стрелец» содержит уникальную историю возникновения, подъема и распада русского футуризма — и в поэзии и в изобразительном искусстве. Книга и сейчас читается как исповедь серьезного и вдумчивого искателя в пору литературно-общественного бездорожья.

Зрелые поэтические сборники Б. Лившица «Из топи блат» (1922), «Патмос» (1926), «Кротонский полдень» (1928), а также книга переводов «Французские лирики XIX и XX веков» (1937) говорят о пластическом мастерстве поэта, рано и трагически ушедшего из жизни в 1939 году. Киевский период поэта длился недолго, но, и переселившись в Петербург, он не порывал знакомства с бывшими киевскими друзьями.

Последний раз встретились мы в 1931 году в Ленинграде. Случайно увидев меня на Невском, он тут же повел к себе. Его квартира напоминала своеобразную галерею, где можно было найти редкую коллекцию рисунков и картин А. Экстер, Д. Бурлюка, Н. Кульбина, М. Шагала, а также многих фран-

цузских художников. Все в квартире говорило о высоком вкусе ее обитателей — Бенедикта Константиновича и его жены Екатерины Константиновны. Я заметил не свойственную Лившицу нервность, и на его обычно сосредоточенно-спокойном лице лежала тень тревоги. Печататься ему было негде, он занимался переводами стихов и прозы с французского языка. Тут выяснилась необходимость обратиться за содействием к А. В. Луначарскому как главному редактору выходившего тогда собрания сочинений Анатоля Франса. По русской поговорке — «на ловца и зверь бежит» — мы приехали в Ленинград вместе с Анатолием Васильевичем по театральным делам, и я вызвался тут же свести Бенедикта Константиновича с ним. С трудом поборов застенчивость, Лившиц отправился со мной в Европейскую гостиницу. Шли пешком, мне казалось, что Лившиц намеренно замедляет шаги, оттягивая пугающую его встречу. Ему не свойственно было выступать в роли просителя. В нем всегда было гордое благородство, которое никак нельзя спутать с самоуверенностью. Артистизм его натуры настраивал собеседника на высокий лад и предостерегал от излишнего интереса к жизненным мелочам. Но тут дело касалось включения его перевода романа «Боги жаждут» в собрание сочинений Анатоля Франса. На сей раз появились довольно сильные претенденты на эту работу, на мой взгляд очень удачно выполненную Б. Лившицем.

На набережной Невы мы любовались ранним весенним пейзажем, и я сделал несколько снимков. До сих пор хранится у меня серия этих снимков, на одном из них Лившиц сидит под каменным львом, красивый, элегантный, держа в руках палку с набалдашником из слоновой кости. Свидание с Луначарским, как я и ожидал, состоялось к общему удовольствию. Деловой вопрос был решен моментально, а далее беседа о французской поэзии продолжалась не один час...

## СОДЕРЖАНИЕ

Бенедикт Лившиц и его переводы. <i>Предисловие Вадима Козового</i> . . . . .	5
--	---

### СТИХОТВОРЕНИЯ

Альфонс Ламартин	
Одиночество . . . . .	21
Виктор Гюго	
Надпись на экземпляре «Божественной комедии» . . . . .	24
Mugitusque boum . . . . .	24
У ночного окна . . . . .	26
Затмение . . . . .	30
Я видел Глаз Тельца . . . . .	32
Альбрехту Дюреру . . . . .	34
Когда все вишни мы доели... . . . . .	35
Искушение (Фрагменты) . . . . .	36
I . . . . .	36
II . . . . .	38
III . . . . .	41
V . . . . .	43
Народу . . . . .	45
Сопоставление . . . . .	46
Форты . . . . .	46

Наполеон III . . . . .	48
Вергилий, бог... . . . .	49
Нисходит жизнь моя... . . . .	50
I . . . . .	50
II . . . . .	50
III . . . . .	51
IV . . . . .	52
V . . . . .	53
Альфред де Виньи	
Рог (Отрывок) . . . . .	55
Альфред де Мюссе	
Мадрид . . . . .	56
Цветку . . . . .	57
Пьер-Жан Беранже	
Челобитная породистых собак о разрешении им доступа в Тюильрийский сад (июнь 1813 года) . . . . .	60
Эпитафия моей музы (Сент-Пелажи) . . . . .	62
Ключи рая . . . . .	64
Огюст Барбье	
Девяносто третий год . . . . .	66
I . . . . .	66
II . . . . .	67
Огюст-Марсель Бартеlemi	
Господину де Ламартину, кандидату в депутаты от Тулона и Дюнкерка . . . . .	68
Шуан . . . . .	71
Теофиль Готье	
Алмаз сердца . . . . .	73
Локоны . . . . .	74

Леконт де Лиль	
Ягуар . . . . .	76
Хосе-Мария де Эредиа	
Видения эмали . . . . .	79
Шарль Бодлер	
Соответствия . . . . .	80
Идеал . . . . .	80
Поль Верлен	
Марина . . . . .	82
A roog young shepherd . . . . .	83
В трактирах пьяный гул... . . . .	84
Последнее изящное празднество . . . . .	84
Сатурническая поэма . . . . .	85
Сафо . . . . .	86
Жан-Артюр Рембо	
Ощущение . . . . .	87
Офелия . . . . .	87
I . . . . .	87
II . . . . .	88
III . . . . .	89
На музыке. Вокзальная площадь в Шарлевиле . . . . .	89
Роман	
I . . . . .	91
II . . . . .	91
III . . . . .	91
IV . . . . .	92
Зло . . . . .	92
Вечерняя молитва . . . . .	93
Пьяный корабль . . . . .	93

Искательницы вшей . . . . .	97
Что говорят поэту о цветах (Отрывок) . . . . .	98
Стефан Малларме	
Отходит кружево опять... . . . . .	99
Жюль Лафорг	
Настроения . . . . .	100
Из «Изречений Пьеро» . . . . .	101
Морис Роллина	
Магазин самоубийства . . . . .	102
Тристан Корбьер	
Скверный пейзаж . . . . .	103
Идальго . . . . .	103
Лоран Тайад	
Баркарола . . . . .	105
Площадь Побед . . . . .	106
Sur Champ d'or . . . . .	106
Посвящение . . . . .	107
Эмиль Верхарн	
К будущему . . . . .	108
Анри де Ренье . . . . .	111
Эпитафия . . . . .	112
Пленный шах . . . . .	112
Альбер Самен	
Конец империи . . . . .	114
Ноктюрн . . . . .	114
Франсис Жамм	
Зачем влачат волы... . . . . .	116
Послушай, как в саду... . . . . .	116
Зеваки . . . . .	118

Поль Фор	
Филомела . . . . .	119
Жан Мореас.	
Стансы . . . . .	122
Стансы . . . . .	122
Андре Жид	
Из «Стихов Андре Вальтера»	
I . . . . .	124
II . . . . .	125
VI . . . . .	126
VIII . . . . .	126
Солнцестояние . . . . .	127
Парк . . . . .	128
Календари . . . . .	129
Март . . . . .	129
Сентябрь . . . . .	131
Ноябрь . . . . .	132
Поль Валери	
Елена, царица печальная . . . . .	133
Юная парка (Фрагменты) . . . . .	134
Погибшее вино . . . . .	136
Intérieur . . . . .	136
Дружеская роща . . . . .	137
Морское кладбище . . . . .	137
Поль Клодель	
Ты победил меня, возлюбленный... . . . . .	143
Мрачный май . . . . .	144
Шарль Пегу	
Блажен, кто пал в бою . . . . .	145

Жюль Ромен	
Из книги «Европа» . . . . .	146
Шарль Вильдрак	
Песнь пехотинца . . . . .	149
Гийом Аполлинер	
Сумерки . . . . .	151
Отшельник . . . . .	152
Переселенец с Лендор-роуда . . . . .	155
Музыкант из Сен-Мерри . . . . .	157
Через Европу . . . . .	161
Сухопутный океан . . . . .	162
Лунный свет . . . . .	163
Макс Жакоб	
Серенада . . . . .	164
Андре Сальмон	
Светляки . . . . .	166
Танцовщицы . . . . .	166
Поль-Жан Тулэ	
Песенка . . . . .	168
Как эти яблоки... . . . .	168
Жан Жироду	
Эклисе, Эклисе... . . . .	170
Я вижу Бельфора... . . . .	170
Пробуждение весны в северных странах . . . . .	171
Леон-Поль Фарг	
Гальки . . . . .	172
Жюль Сюпервьель	
Олень . . . . .	173

Франсис Карко	
Кисло-сладкая песенка . . . . .	174
Тристан Дерем	
Мы ждали героинь... . . . . .	175
Пьер Реверди	
Триумфальная арка . . . . .	176
Жан Кокто	
Пернатые в снегу . . . . .	177
Спина ангела . . . . .	178
Поль Элюар	
Твой златогубый рот... . . . . .	179
Равенство полов . . . . .	179
П р и л о ж е н и е	
<i>Бенедикт Лившиц.</i> В цитадели революционного слова .	183
<i>Александр Дейч.</i> О Бенедикте Лившице . . . . .	187

## СЕРИЯ

### «Мастера поэтического перевода»

Серия учреждена в 1962 году. Первый выпуск вышел в 1963 году. С тех пор читатели получили 10 выпусков:

- Выпуск 1. «Поэты-современники» (Д. Самойлов).
- » 2. «Поэты разных стран» (Л. Мартынов).
  - » 3. «Поэты XX века» (М. Зенкевич).
  - » 4. «Голоса поэтов» (А. Ахматова).
  - » 5. «Звездное небо» (Б. Пастернак).
  - » 6. «От Беранже до Элюара» (П. Антокольский).
  - » 7. «Просто сердце» (М. Цветаева).
  - » 8. «Огромный мир» (М. Алигер).
  - » 9. «Эстафета дружбы» (А. Сурков).
  - » 10. «Тень деревьев» (И. Эренбург).

Начиная с 10-го выпуска книги серии выходят в переплетах.

В 1970 году вышли:

- Выпуск 11. «У ночного окна» (Бенедикт Лившиц).
- » 12. «На дальнем горизонте» (Александр Блок).

СЕРИЯ

## «Мастера поэтического перевода»

Выпуск 13—15. В 1971 году издательство «Прогресс» предполагает познакомить читателей с переводами трех видных советских поэтов:

Николая Заболоцкого  
Михаила Исаковского  
Константина Симонова

Эти поэты внесли ощутимый вклад в сокровищницу русского переводческого искусства. Все они отдали должное европейской классике, каждый переводил произведения современных поэтов социалистических стран, двое (Заболоцкий, Исаковский) дали русскому читателю несравненные образцы перевода народной поэзии (Заболоцкий — «Сербский эпос»; Исаковский — «Народные венгерские песни и баллады»).

## У НОЧНОГО ОКНА

Художественный редактор *А. Купцов*  
Технический редактор *А. Шупейко*  
Корректор *Э. Зельдес*

Сдано в производство 24/VI 1969 г.  
Подписано к печати 2/II 1970 г.  
Бумага 70X108<sup>1/32</sup>, бум. л. 3<sup>1/8</sup>, печ. л. 8,75  
Уч.-изд. л. 6,48. Изд. № 12/8727. Цена 45 к.  
Зак. 532

Издательство «Прогресс»  
Комитета по печати при Совете Министров СССР  
Москва Г-21, Зубовский бульвар, 21

Типография издательства  
Агентства печати Новости.  
Москва, ул. Фр. Энгельса, 46.